

МИРЪ ВОЙНА и МИРЪ

сочненіе

МВ_иМ

Анатолий Шигапов

МИРЪ, ВОЙНА и МИРЪ

«Автор»

2026

Шигапов А.

МИРЪ, ВОЙНА и МИРЪ / А. Шигапов — «Автор»,
2026 — (МВиМ)

В подземельях заброшенного форта 5 Калининграда обнаружена обгоревшая рукопись. Экспертиза подтвердила: это неизвестный первый том трилогии Толстого - предыстория «Войны и мира». Действие охватывает 1796 - 1805 годы: смерть Екатерины, ужасы павловского царства, убийство Павла, надежды на Александра I. Читатель увидит детство Наташи Ростовской, юность Андрея Болконского, становление Пьера Безухова, первые шаги красавицы Элен. Впервые так полно показан мир слуг, солдат, ямщиков - тех, кто творит историю молча. Рукопись пострадала от огня, поэтому главы частично реконструированы филологами. Утраты отмечены [], дополнения - курсивом. Как рукопись оказалась в заброшенном форте - тайна, покрытая мраком. Толстой хотел назвать трилогию «Мир, Война и Мир» (или «Трилика»).

© Шигапов А., 2026

© Автор, 2026

Анатолий Шигапов

МИРЪ, ВОЙНА и МИРЪ

Часть первая

I

В большой приёмной зале Зимнего дворца, той самой, что примыкала к парадной опочивальне и была вся уставлена мраморными статуями и высокими зеркалами в золочёных рамах, граф Фёдор Васильевич Ростопчин стоял у окна и смотрел на мокрый снег, который падал на гранитные плиты набережной. Снег этот был самый мокрый, самый противный, какой только бывает в петербургском ноябре, и он падал и тотчас таял, и графу казалось, что вместе с этим снегом тает и вся прежняя жизнь - екатерининская, сытая, понятная, где каждому было известно его место и где самое слово «завтра» не означало ничего страшного, - и на смену ей идёт что-то такое, чего никогда ещё не было, и хотя он, Ростопчин, не мог бы сказать словами, что именно идёт, но всем существом своим чувствовал, что это новое будет самым тяжёлым, самым мучительным из всего, что ему довелось пережить.

В зале, несмотря на поздний час, толпились сановники, генералы, иностранные послы; никто не спал, и никто не думал о сне - все, перешёптываясь, поглядывали на дверь, которая вела во внутренние покои, и все ждали: когда приедет из Гатчины новый император, кто первым поклонится ему в верности, кому первому отрубят голову. Но ждали не в опочивальне, где лежало тело, - туда допускали только самых близких, тех, кто имел право на последнее прощание, - а здесь, в приёмной, где свечи в тяжёлых канделябрах давно уже оплыли и жёлтый, дрожащий свет их ложился на вызолоченные стены, на высокие зеркала, в которых смутно отражались неподвижные фигуры придворных, и на лица, бледные и напряжённые, какие бывают у людей, которые за одну ночь могут лишиться всего.

- *C'est donc fait, mon cher*, - сказал Ростопчин, не оборачиваясь, потому что узнал шаги князя Долгорукова, того самого, который при Екатерине был в большой силе, а теперь, как и все, не знал, останется ли при дворе хотя бы до утра. - Она умерла, и вот мы остались с этим человеком, который сорок лет провёл в ожидании, и я вас спрашиваю, князь, откровенно, как на духу: верите ли вы, что мы переживём это царствование? Я, признаться, не верю. Он странный, очень странный, и притом убеждён в своей правоте, а это, как известно, опаснее всякого безумия. Ему кажется, что порядок, дисциплина, парадный шаг - всё это спасёт Россию, но Россия, прости Господи, не нуждается в спасении от пруссаков, а он этого не понимает.

Князь Долгоруков, старый вельможа с седыми бакенбардами и потухшими глазами, медленно подошёл к окну и тоже уставился на снег, который всё падал и таял, оставляя на стекле мутные разводы. Он долго молчал - так долго, что Ростопчин уже начал думать, не заснул ли старик стоя, - но князь наконец проговорил, тихо и как бы нехотя:

- Вы слишком строги, граф. Он несчастлив. А несчастье, вы знаете, делает людей жестокими, но со временем, может быть, он смягчится.

- Посмотрим, - усмехнулся Ростопчин, и усмешка эта вышла горькой, какой она у него бывала в минуты, когда он говорил правду, которую никто не хотел слышать. - В чудеса я не верю. И хуже всего то, что он ненавидит всех, кто был близок к его матери, всех без исключения, и мне, и вам, и любому, кто носил екатерининскую ленту, остаётся либо приспособиться, либо погибнуть. Третьего не дано.

Он отошёл от окна и прошёлся по зале, машинально поглядывая на двери, откуда то и дело выходили адъютанты с бледными лицами, которые были бледны не от горя, а от страха - того самого страха, который делает людей покорными и жестокими одновременно. В дальнем конце залы, у колонны, обитой тёмно-зелёным сукном, стоял старый граф Кирилл Вла-

димирович Безухов, опираясь на палку - он был болен и едва держался на ногах, - а рядом с ним, держась за полу его сюртука, переминался с ноги на ногу мальчик лет одиннадцати, толстый, нескладный, с огромными задумчивыми глазами, которые глядели на всё вокруг с таким выражением, будто он видел не то, что видели другие, а что-то своё, понятное только ему одному. Это был Пьер, незаконный сын графа, которого старик, как говорили, собирался объявить наследником, и Ростопчин, глядя на этого мальчика, подумал, что дети, должно быть, не понимают того, что происходит, и слава Богу, что не понимают, потому что если бы понимали, то, наверное, умерли бы от страха или от жалости.

Он вспомнил, что внизу, у служебного подъезда, ждут в каретах жёны и дети тех, кто допущен в залы. Говорили, что графиня Ростова привезла с собой троих детей - десятилетнего Николя, четырёхлетнюю Наташу и восьмилетнюю Веру, - и теперь все они сидят в темноте, кутаясь в шинели и пледы, и не понимают, почему их не пускают в тёплые комнаты, и старший, Николай, верно, дразнит сестёр, а маленькая Наташа, должно быть, спит, убаюканная мерным стуком дождевых капель по крыше экипажа. «И пусть, - подумал Ростопчин. - Им не надо видеть того, что здесь происходит. Им не надо знать, как страх делает взрослых похожими на трясущихся зайцев».

Из опочивальни вышел доктор, вытирая руки, и что-то шепнул гофмаршалу. Тот перекрестился и, ни на кого не глядя, быстрыми мелкими шагами направился к выходу. Ростопчин понял, что всё кончено. Он подошёл к князю Долгорукову и сказал тихо, почти в самое ухо, так, чтобы никто больше не слышал:

- Она умерла. Теперь мы увидим, что сделает Павел. Но я вам говорю, князь, это начало конца, и помяните моё слово: прежде чем пройдёт год, многие из нас пожалеют, что родились на свет.

Долгоруков ничего не ответил, только вздохнул и поправил орденскую ленту, которая немного съехала набок, и этот жест был таким старым, привычным, что Ростопчину вдруг стало жаль старика - тою безнадёжной жалостью, какую чувствуешь перед человеком, чьё время уже прошло, а он сам этого ещё не понял.

Он вышел в коридор, спустился по широкой мраморной лестнице, где на каждой ступеньке стояли гвардейцы с ружьями, и оказался у главного выхода. Здесь, в вестибюле, было холодно, пахло сыростью и лошадьми, и швейцары в красных ливреях, поминутно отворяя тяжёлые дубовые двери, впускали и выпускали курьеров, которые привозили и увозили какие-то пакеты. Ростопчин остановился на минуту, глядя на улицу. Ночь была тёмная, ветреная, и снег с дождём, который час назад казался таким бесконечным, уже переставал, и в просветах между тучами кое-где виднелось чёрное, звёздное небо. У подъезда теснились кареты - десятки карет, чёрных, с зажжёнными фонарями, и в одной из них, той, что стояла ближе всех к крыльцу, в окошке мелькнуло детское лицо - круглое, с вздёрнутым носом, - и тотчас скрылось, потому что кто-то задернул занавеску.

«Ростовы, - подумал Ростопчин. - Десять лет мальчику. Он ещё не знает, что его ждёт. И слава Богу, что не знает».

Он надел шинель, взял у швейцара треуголку и вышел на крыльцо. Мокрый снег тотчас начал таять на его лице, смешиваясь с потом, и это было неприятно, но он не вытер лицо, потому что ему вдруг захотелось почувствовать эту холодную, липкую влагу как что-то настоящее, единственно настоящее, что осталось в этом мире, где всё остальное - чины, ленты, должности, надежды - было обманом и прахом. Кучер подал экипаж; Ростопчин сел, захлопнул дверцу и сказал: «На Литейную».

Экипаж тронулся, и колёса его застучали по мокрой брусчатке, и этот стук был таким ровным, таким привычным, что граф невольно закрыл глаза и стал думать. Думал он о том, что было, и о том, что будет, и о том, как странно устроена жизнь, что самый умный человек не может предвидеть того, что случится с ним через неделю. Вот ещё вчера он, Ростопчин, был в

силе, Екатерина называла его «топ амі» и поручала ему важные дела, а сегодня он уже никто, и стоит только Павлу нахмуриться - и завтра его, Ростопчина, повезут в Шлиссельбург, и никто не заступится, никто не вспомнит. И от этого страха, который он чувствовал не первый час, вдруг отлегло, и вместо страха пришло какое-то спокойное, почти равнодушное любопытство: а что же будет дальше?

Он открыл глаза и посмотрел в окно. Небо было низкое, мутное, но кое-где уже проглядывали звёзды, и ветер разгонял тучи, и казалось, что всё это небо, весь этот бесконечный, холодный свод давит на Петербург, и этот гнёт никогда не кончится, и люди, которые живут под этим небом, уже не могут дышать свободно, потому что привыкли бояться. И Ростопчин подумал о том, что история человеческая - это не то, что делают цари и министры, и не то, что написано в указах и трактатах, а что-то другое, что совершается само собою, помимо воли людей, и люди только думают, что они ведут её, тогда как на самом деле она ведёт их, как ветер ведёт осенний лист, и никто не знает, куда и зачем. Вот Екатерина умерла. Вот Павел стал царём. Вот он, Ростопчин, сидит в экипаже и едет по мокрой мостовой, и всё это вместе взятое есть нечто такое, что нельзя ни остановить, ни изменить, ни даже понять до конца, а можно только смотреть и удивляться, как смотрят на быструю реку, в которой кружатся и тонут щепки.

Экипаж остановился у его дома на Литейной. Ростопчин вышел, расплатился с кучером и, не торопясь, поднялся к себе в кабинет. В кабинете горела одна свеча, и жёлтый круг её света падал на письменный стол, заваленный бумагами - докладами, донесениями, черновиками указов, которые теперь, должно быть, никому не были нужны. Он сел в кресло, взял перо, обмакнул его в чернильницу и долго сидел так, не зная, что писать. Хотелось написать прошение об отставке, но рука не поднималась, потому что в глубине души он ещё надеялся, что всё образуется, что Павел одумается, что страх пройдёт и жизнь войдёт в свою колею. Он положил перо, отодвинул бумаги и посмотрел на портрет Екатерины, который висел над столом в золочёной раме, - молодая, с орлиным профилем, в гвардейском мундире, - и ему показалось, что она смотрит на него с укоризной, будто спрашивает: «Что же ты, Фёдор, испугался?»

- Что делать, матушка, - сказал он вслух, - кончилось ваше время. Теперь другое настанёт.

На дворе выл ветер, и снег уже не таял, потому что ударил мороз. Ростопчин подошёл к окну, отодвинул занавеску и увидел, что небо очистилось совсем, и на нём, на этом чёрном, бесконечном небе, зажглись звёзды - мелкие, частые, такие же холодные и равнодушные, какими они были всегда, и при Екатерине, и при Петре, и при Рюрике, и будут ещё долго после того, как ни Ростопчина, ни Павла, ни самого Петербурга не останется. Он постоял так с минуту, потом погасил свечу, лёг на диван, не раздеваясь, и закрыл глаза. Он не спал - он слушал, как где-то далеко, должно быть в Зимнем дворце, били часы, и считал удары. Двенадцать. Началась новая ночь, новое царствование, новая жизнь, и никто - ни умный, ни глупый, ни знатный, ни простой - не знал, что она принесёт.

II

Графиня Варвара Николаевна Головина сидела в малой гостиной императрицы Марии Фёдоровны, на том самом месте, у окна, откуда был виден занесённый снегом дворцовый сад - сад, где ещё летом, при Екатерине, гуляли свободно и смеялись, а теперь, в декабре, стояли часовые в прусских мундирах и шагали так ровно и гулко, что казалось, сама земля отбивает шаг. На столике перед графиней лежало неоконченное шитьё - какой-то замысловатый вензель, который она вышивала по заказу императрицы, - но игла застыла в её пальцах, и она не делала стежка уже с четверть часа, потому что слушала. Слушала она тот странный, непривычный шум, который доносился из соседней залы: не громких разговоров, не весёлого смеха, какими бывали екатерининские вечера, а полупшепота, боязливого, с длинными паузами, когда все замолкали, потому что где-то в конце коридора слышались шаги - тяжёлые, быстрые шаги

императора Павла, который, как говорили, мог войти в любую минуту и сказать такое, от чего у опытейших царедворцев подкашивались ноги.

В дверях показался князь Василий Курагин. Он оглянулся, как это делают все в эти дни, - коротким, быстрым взглядом, который охватывал сразу и всех присутствующих, и двери, и окна, и то, не стоит ли кто-нибудь за портьерой, - и, подойдя к графине Головиной, наклонился к самому её уху так близко, что она почувствовала его тёплое дыхание, и зашептал:

- Что ж, моя милая, что вы скажете о новых указах? Запрещают круглые шляпы, фраки, вальс. *C'est ridicule, n'est-ce pas?*

Графиня, не поднимая глаз от шитья, но и не делая стежка, ответила тем же тихим, почти неслышным шёпотом, потому что и она, и князь Василий знали, что в этих стенах даже стены могут донести неосторожное слово до тех, кому оно не предназначено:

- Это хуже, чем смешно, мой милый. Это страх. Государь боится всего, что напоминает о свободе - о той свободе, которой мы дышали тридцать четыре года. Он хочет, чтобы мы ходили прусским шагом, говорили шёпотом и боялись открыть рот. *Il nous rendra fous, mon cher prince, il nous rendra fous*, и это будет самое страшное безумие, потому что оно будет не нашим, а его.

Князь Василий вздохнул - тем глубоким, многозначительным вздохом, который у него означал и согласие, и опасение, и готовность в любую минуту сказать противоположное, - оглянулся ещё раз и отошёл к камину, где стояли другие гости, тоже перешёптывавшиеся и поглядывавшие на дверь.

Графиня Головина отложила шитьё и подняла глаза к окну. Небо было низкое, свинцовое, того тяжёлого, неподвижного цвета, какой бывает в Петербурге в декабре, когда снег идёт и не идёт, а висит в воздухе мелкой, колючей пылью, и кажется, что все небо давит на землю, и этой тяжести никто не может сбросить. «*Quel temps horrible*», - подумала она. И люди такие же: тяжелые, напуганные, не смеющие улыбнуться. Ей вспомнились екатерининские времена - как свободно лился французский язык в гостиных, как не боялись сказать лишнего, потому что знали: императрица умна и простит глупость, а жестокость оставит для дела, а не для забавы. Теперь же любое «*merci*» или «*bonjour*» произносили с оглядкой, а самые осторожные и вовсе перешли на русский, коверкая его и мучаясь, потому что не привыкли выражать тонкие мысли на языке, который ещё недавно казался им языком лакеев и кучеров.

В комнату вошла молодая княгиня Анна Михайловна Друбецкая - та самая, которая, несмотря на свою бедность, умела входить туда, куда другие не смели, и заговаривать с теми, с кем другие боялись. За руку она вела своего сына, Бориса, мальчика одиннадцати лет, одетого в новенький мундирчик, сшитый явно на вырост - рукава были чуть длинноваты, и воротник топорщился, - и мальчик этот, розовощёкий, с чистыми, еще не знающими страха глазами, с любопытством разглядывал портреты императоров, висевшие на стенах, и золотые канделябры, и высокие зеркала, в которых отражались и он сам, и его мать, и все эти напуганные люди в пышных платьях и мундирах.

Графиня Головина поманила мальчика пальцем, и Борис, покосившись на мать, которая чуть кивнула, сделал несколько шагов вперёд и остановился, вытянувшись по струнке - так, как его учили на уроках танцев.

- Подойди, дитя моё, - сказала графиня. - Ты, я вижу, не боишься перемен? Ты смотришь на эти портреты так, будто они тебе родные.

Борис покраснел - покраснел тем густым, детским румянцем, который заливает сразу и щёки, и лоб, и даже уши, - и ответил, глядя прямо в глаза графине:

- Я не боюсь, ваше сиятельство. Потому что государь - отец, а отец не может сделать ничего дурного.

Графиня Головина невольно улыбнулась - той грустной, усталой улыбкой, которая появлялась на её лице всякий раз, когда она слышала что-нибудь наивное и трогательное. «Отец, - подумала она. - Дитя ещё. Он не знает, что отцы иногда бывают страшнее врагов». Она погла-

дила Бориса по голове, отпустила его и снова взялась за шитьё, но игла опять застыла, потому что из соседней залы донеслись команды - резкие, гортанные, на немецкий лад - и топот множества сапог, чеканивших шаг.

Это император Павел проводил вахтпарад прямо в коридорах Зимнего дворца, потому что, как говорили, ему было мало плацев, ему хотелось, чтобы сама резиденция его матери стала казармой. Графиня прислушалась. Шаги приближались, и сердце её забилося чаще, и она, как и все в этой комнате, замерла, боясь пошевелиться. Но шаги прошли мимо - дверь в малую гостиную не отворилась, - и все, кто здесь был, выдохнули почти одновременно, и этот выдох в тишине прозвучал так явственно, что каждый узнал в нём чужой страх и устыдился своего собственного.

Графиня Головина посмотрела в окно, на низкое небо, которое всё так же давило на Петербург, и подумала о тех, кто будет жить после них, - о десятилетнем голенастом Николае Ростове, который, верно, сейчас дерётся со своими сёстрами в московском доме отца и не знает, что скоро его отдадут в военную школу, где будут учить ходить прусским шагом; о четырёхлетней Наташе, которая, должно быть, играет в куклы и не понимает, почему мама стала такой грустной; об одиннадцатилетнем Пьере Безухове, который, как говорили, пишет какие-то странные стихи и не слушается гувернёров; о десятилетней Элен, уже обещающей стать красавицей; о тринадцатилетнем Анатоле, который, говорят, вчера на спор выпрыгнул из окна второго этажа и остался цел; о девятнадцатилетнем Долохове, который уже отправлен в гвардию и которого все боятся, как огня.

«Им ещё жить при этом государе, - подумала графиня, глядя на Бориса Друбецкого, который отошёл к матери и теперь слушал её шёпот, поджав губы. - Им жить и жить. Дай Бог, чтобы дожили».

Она перекрестилась - украдкой, под шитьём, чтобы никто не увидел, - и сделала первый стежок, потом второй, потом третий. Игла заходила ровно, и вензель на ткани начал обретать свои очертания. Но мысли её всё ещё были там, за окном, где низкое декабрьское небо висело над дворцом, над городом, над всей Россией, и никто не знал, что оно принесёт.

Через час графиня Головина вышла из дворца. На улице мороз крепчал, снег скрипел под ногами, и редкие звёзды уже зажглись на почерневшем небе. Её карета стояла у подъезда, и лакей подал ей руку, помогая сесть. Когда карета тронулась, она откинулась на подушки и закрыла глаза. Ей вспомнилось лицо Бориса Друбецкого - чистые, детские глаза, которые ещё не знали страха. «Счастливый, - подумала она. - Он не понимает, что такое страх. А мы уже поняли. И это самое страшное».

Карета застучала по обледенелой мостовой, и графиня открыла окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Ветер ударил в лицо, холодный, острый, и она зажмурилась. Когда она открыла глаза, над городом в разрыве туч блеснула звезда - яркая, одинокая, - и графине показалось на миг, что эта звезда видела и Екатерину, и Петра, и всех прочих царей, и будет видеть тех, кто придёт после, и всё это - страх, указы, вахтпарады, запреты - для звезды лишь один миг, а для человека - целая жизнь, полная страха и надежды, и никто не знает, что в ней главное. Она закрыла окно, велела кучеру ехать домой и всю дорогу молча смотрела на мерцающие огни города, которые казались ей маленькими, беспомощными свечками в этой чёрной, ледяной тьме.

III

В кабинете, где пахло кожей, табаком и старыми книгами, горели две свечи в медных шандалах, и жёлтый, колеблющийся свет их ложился на портреты предков, на стеллажи с бумагами и на высокое венецианское зеркало в резной раме, перед которым стоял князь Николай Андреевич Болконский. Он был уже одет по-дорожному - в старомодный камзол тёмно-зелёного сукна, какие носили ещё при Екатерине, и в напудренный парик, который надевал только

по самым торжественным случаям, - и теперь, слегка наклонив голову, застёгивал ордена, один за другим, и пальцы его, сухие и жилистые, с длинными, чуть искривлёнными от старости ногтями, двигались с той привычной, почти машинной точностью, какую дают только долгие годы ежедневного ритуала.

Рядом с ним, потупившись и глядя в пол, стоял девятнадцатилетний Андрей - высокий, худощавый, с тонкими чертами лица, на котором застыло выражение той сдержанной, почти суровой почтительности, какая бывает у молодых людей, которые уже вышли из детского возраста, но ещё не вошли в полную самостоятельность и потому вынуждены молчать и слушать, когда говорят старшие. Лицо его было бледно, губы плотно сжаты, и только глаза - серые, живые, умные - выдавали то внутреннее волнение, которое он старался скрыть от отца.

- Так-то, батюшка, - сказал старый князь, не оборачиваясь и продолжая возиться с орденами, - еду в Петербург. Целовать руку государю, который, говорят, ненавидит всех нас, старых екатерининских псов. Что ж, он имеет на это право, потому что матушка его, царствие небесное, не слишком жаловала сына. Но мне, старику, не привыкать. *C'est une absurdité, mais que faire?* - и он досадливо крякнул, потому что орден не желал застёгиваться.

Андрей молчал. Он знал, что от него не требовали ответа, и вообще знал, что в минуты, когда отец говорил таким тоном - ворчливым, но незлым, - лучше было молчать и не перебивать, потому что старый князь любил говорить один и только делал вид, что спрашивает мнение сына.

- А ты, - продолжал старик, наконец справившись с орденами и поворачиваясь к Андрею, так что полы камзола широко распахнулись и открыли жилет, застёгнутый на все пуговицы, - остаёшься здесь, в Лысых Горах. Смотри за хозяйством, за Марьей. И запомни одно, и запомни крепко, потому что от этого может зависеть твоя жизнь: Павел безумен, но безумие его не есть безумие слабости, нет, оно есть безумие власти, и потому оно опасно вдвойне. Молчи, не лезь, не высовывайся. Умный человек при тиране либо молчит, либо бежит. Ты не можешь бежать, у тебя здесь имение, долги, сестра, - так молчи. И не вздумай спорить, не вздумай доказывать, не вздумай показывать, что ты умнее его. Он этого не прощает.

Андрей поднял глаза на отца - и в этих глазах, серых, глубоких, мелькнуло что-то похожее на горечь, но тотчас же исчезло, заменённое привычным выражением почтительной покорности.

- *Oui, mon père,* - ответил он, и голос его прозвучал ровно, без дрожи, хотя внутри у него всё сжималось от той мысли, что жизнь, настоящая жизнь - с опасностями, с подвигами, с великими делами, - проходит мимо, а он, Андрей Болконский, должен сидеть в этой глуши и ждать, когда же начнётся что-то настоящее. - Я сделаю всё, как вы говорите.

- То-то, - сказал старый князь, и в голосе его прозвучало не то удовлетворение, не то сожаление. - Смотри у меня. А если что - пиши. Но не чаще, чем раз в месяц, потому что я человек занятой и всякой ерундой меня заваливать нечего.

Он подошёл к столу, взял с него тяжёлую трость с серебряным набалдашником, которой пользовался больше для виду, чем для дела, и, опираясь на неё, направился к выходу. Прокофий всё это время стоял у двери, сложив руки на животе, и наблюдал. Он видел, как старый князь, проходя мимо зеркала, бросил взгляд на своё отражение и чуть усмехнулся - той усмешкой, которая означала: «Ничего, ещё посмотрим, кто из нас двоих дольше проживёт». Потом старый князь вышел в прихожую, и Прокофий засеменил следом, чтобы помочь барину одеться по-дорожному - надеть тяжёлую медвежью шубу, которую тот терпеть не мог за её непомерную тяжесть, но надевал из-за мороза, и высокие ботфорты, и шапку с наушниками, делавшую его похожим на старого, взъерошенного медведя.

Андрей шёл сзади, не отставая ни на шаг, но и не обгоняя. На крыльце, где мороз схватывал за щёки и дышать становилось трудно, потому что воздух был колючий, сухой и пахло снегом, стоял возок - старый, обитый кожей, с высокими рессорами, в который старый князь

забирался всегда с трудом и всякий раз ворчал, что пора бы завести новую карету, но денег жалко. Лошади, серые в яблоках, нетерпеливо перебирали ногами, и из их ноздрей валил пар.

Старый князь, прежде чем сесть, повернулся к сыну, молча снял шапку, перекрестил его широким, размашистым крестом - тем крестом, каким крестят только перед дальней дорогой или перед смертью, - и сказал:

- Ну, с Богом. Береги честь, Андрей. И помни: честь дороже жизни, потому что жизнь у человека одна, а честь он носит в себе и после смерти передаёт детям.

Андрей молча поклонился. Прокофий подал барину руку, помогая взобраться на подножку, и старый князь, кряхтя и ругаясь шёпотом, наконец влез внутрь, плюхнулся на облезлые подушки и захлопнул дверцу.

- А ты, Прокофий! - крикнул он, высунув голову в маленькое окошко, которое отодвинулось со скрипом. - Гляди за ним в оба. Чтоб хозяйство не развалилось, чтоб Марья не плакала, чтоб он, - он кивнул в сторону Андрея, - глупостей не наделал. Ты у меня старый слуга, знаешь порядки.

- Слушаю, ваше сиятельство, - отвечал Прокофий, низко кланяясь и придерживая одной рукой шапку, чтобы она не слетела от ветра, а другой - полы шубы, которые раздувались.

- Трогай! - скомандовал старый князь, и кучер, сидевший на козлах в тулупе и рукавицах, дёрнул вожжи. Лошади взяли с места - медленно, грузно, но всё же пошли, и возок, покачиваясь на рессорах, закрипел по укатанной снежной дороге, всё удаляясь и уменьшаясь в размерах, пока не превратился в чёрную точку на белом поле, а потом и точка исчезла за поворотом, где начинался лес.

Андрей стоял на крыльце и смотрел вслед. Прокофий стоял рядом, не решаясь нарушить молчание. Ветер поднимал снег с земли, и мелкие снежинки кружились над двором, и было тихо - так тихо, что слышно было, как где-то далеко лают собаки и как скрипит под ногами свежий, только что выпавший снег. Андрей не двигался. Он стоял, опершись рукой на резной столб крыльца, и смотрел на дуб - тот самый огромный, раскидистый дуб, который рос у самого дома, в нескольких саженях от крыльца, и который, как говорили старики, был посажен ещё дедом нынешнего князя, а может быть, и раньше. Дуб этот был так толст, что два человека не могли обхватить его, и ветви его, чёрные, узловатые, сбитые морозом и временем, тянулись к небу, как скрюченные пальцы, и казалось, что дерево это - не просто дерево, а что-то живое, мыслящее, может быть, даже имеющее свою волю и свою память.

«Когда же начнётся настоящая жизнь? - думал Андрей, глядя на дуб. - Неужели вся она пройдёт вот так - в ожидании, в молчании, в томлении, когда старшие говорят «молчи», когда нельзя сделать шагу, чтобы не спросить позволения, когда каждый день похож на предыдущий и всё будущее кажется таким же серым, как это небо?» Небо было низкое, серое, однообразное, без просветов, и, казалось, оно давило на землю, на этот дуб, на этот дом, на него, Андрея, на всю его жизнь, которая ещё не началась, но уже кончается. И ему вдруг стало обидно - обидно до слёз, которых он, впрочем, не показывал, потому что считал, что мужчина не должен плакать, и потому только сжал челюсти ещё сильнее и уставился в одну точку.

Прокофий, постояв ещё немного, подошёл к барину и, кашлянув в кулак, сказал:

- Ваше сиятельство, на дворе холодно. Мороз-то, поди, градусов двадцать. Не изволите ли пройти в залу? Там печи истоплены, самовар поспел.

Андрей не ответил. Он всё смотрел на дуб, и Прокофию, который знал этого барина с детства и помнил его ещё маленьким, бегающим по этим самым комнатам в коротких штанишках, показалось вдруг, что барин видит не просто дерево, не просто старый дуб, на котором они с братом (покойным, царствие небесное) вешали качели, а самую судьбу - ту самую, которая ведёт человека по жизни, не спрашивая его согласия, и которая, как этот дуб, стара, корява, никуда не движется, но стоит твёрдо и не гнётся ни перед какими ветрами. И Прокофий вздохнул, потому что ему стало жаль барина - жаль тою безнадёжной, молчаливой жало-

стью, какую чувствуют старые слуги к молодым господам, которые мучаются тем, чего нельзя поправить никакими советами. И, вздохнув, он перекрестился - широко, как учила его ещё покойная матушка, - и пошёл в дом, потому что надо было топить печи и готовить ужин, и потому что стоять на морозе и смотреть на чужую печаль не было ни времени, ни охоты.

Андрей остался один. Он стоял ещё долго, пока не стало темнеть, пока не зажглись первые звёзды на прояснившемся к вечеру небе, пока снег не перестал кружиться и не улёгся ровным, белым покровом на крышу, на дорогу, на ветви дуба. И когда он наконец повернулся и пошёл в дом, ему почудилось, что дуб знает что-то такое, чего не знают люди, и что в его неподвижности, в его корявых, вздыбленных ветвях есть нечто большее, чем простая жизнь дерева, - есть память и терпение, какие не дано иметь человеку. И от этой мысли ему стало и легче, и тяжелее вместе, потому что если дереву дано знать и терпеть, то и человеку, может быть, тоже дано - но только не знать, а терпеть? Он не нашёл ответа и, вздохнув, толкнул дверь.

Прокофий, стоя у печи и подкидывая дрова, слышал, как хлопнула дверь, как заскрипели ступеньки, и подумал про себя: «Ничего, перемелется - мука будет. Всё перемелется». И пошёл ставить самовар.

IV

Дуняша, запыхавшись, вбежала в девичью - маленькую, душную комнатку с низким потолком и единственным окошком, выходившим во внутренний двор, - и, упав на табурет, зашептала другим горничным, которые сидели за шитьём: одна чинила кружева, другая перебирала бельё, третья, старая Фёкловна, дремала у печки, уронив на колени чулок. - Барышню одевают, - сказала Дуняша, - к первому выходу. Князь приказал надеть розовое платье с открытыми плечами. Такое, знаете, которое в прошлом году заказывали для большого бала, да так и не надевали. Теперь вот пришло.

Горничные переглянулись. Старая Фёкловна, не открывая глаз, проворчала: - Одиннадцать лет девке. Куда рано-то? *C'est un peu tôt, elle n'a que onze ans.* Но Дуняша только рукой махнула и побежала обратно, потому что слышала, как в спальне кричит гувернантка-француженка, которую все звали мадам Ламбер, - худая, желчная особа, тиранившая всех домашних, но перед князем трепетавшая, как осиновый лист, и потому всегда соглашавшаяся с его решениями, даже если они казались самыми нелепыми.

В спальне, большой, светлой, с высокими зеркалами в резных рамах и с портретами каких-то дальних родственников на стенах, суеилось несколько человек. Мадам Ламбер, державшая в руках розовое платье - нежно-розовое, с серебряным шитьём по подолу и с такими открытыми плечами, что казалось, платье вот-вот упадёт, - неодобрительно поджимала губы, но молчала. Сама Элен, тоненькая, с уже заметной, не по годам развитой статью - той самой, которая потом станет притчей во языцех во всех петербургских гостиных, - стояла перед зеркалом в одной нижней юбке и вертелась, вертелась, то поднимая голову, то опуская, и улыбалась себе - не детской улыбкой, робкой и неуверенной, а той спокойной, уверенной, чуть насмешливой улыбкой, которая позже сведёт с ума пол-Петербурга и о которой будут говорить, что в ней нет ни капли чувства, но есть что-то такое, от чего мужчины теряют голову.

- *Il faut qu'elle s'y habitue,* - сказал князь Василий, входя в спальню и не глядя ни на кого. - Ей надо привыкать. - Он был уже одет по-дорожному, в расшитый мундир и при орденах, потому что собирался везти дочь на первый в её жизни большой вечер - к обер-гофмейстерине графине Шуваловой, где собиралось всё высшее общество и где, как он надеялся, одиннадцатилетняя Элен произведёт впечатление. Он подошёл к дочери, окинул её взглядом - тем самым быстрым, оценивающим взглядом, каким он оглядывал лошадей перед покупкой или имения, которые собирался заложить, - и остался доволен. Даже больше чем доволен. В уголках его губ мелькнуло что-то похожее на улыбку - ту самую, которой он улыбался, когда заключал выгодную сделку.

- Ты будешь красивейшей женщиной России, - сказал он, взяв Элен за подбородок и повернув её лицо к свету. - Но помни: красота без расчёта не стоит ничего. Запомни это. Ты не должна быть просто красивой. Ты должна уметь пользоваться своей красотой.

Элен кивнула, продолжая улыбаться, но в глазах её было пусто - та самая пустота, которая позже так поражала всех, кто пытался заговорить с ней о чём-то, кроме нарядов и балов. Она не понимала, что значит «расчёт», но знала, что когда отец говорит таким голосом, лучше кивать и улыбаться, потому что спорить с ним бесполезно, а перечить - опасно.

Дуняша, помогавшая затягивать корсет, налегала на шнуровку изо всех сил, и Элен, морщась, иногда ойкала, но терпела. Корсет был тугим, потому что платье шили ещё год назад, а Элен за год вытянулась и пополнила, и теперь её тонкую, ещё по-детски угловатую фигуру обжимала парча и китовый ус, и каждый вдох давался с трудом. Но князь Василий требовал, чтобы всё было как надо, и Дуняша, боявшаяся барина больше, чем пожара или порки, тянула шнурки так, что у самой пальцы болели.

В дверях появился Анатолий - четырнадцатилетний, уже высокий, с розовыми щеками и наглыми, весело-бессмысленными глазами, которые, казалось, говорили: «Мне всё позволено, и я сделаю что хочу». Он заглянул в спальню, присвистнул протяжно, как извозчик на конной ярмарке, и громко, на всю комнату, сказал:

- Elle est belle, ma sœur. Жаль, что нельзя жениться на родной сестре. Вот была бы жена - всем женам жена!

И, не дожидаясь ответа, тут же похвастался, что стащил кошелёк у гувернёра-француза, того самого, который каждое утро мучил его латынью и которого Анатолий ненавидел лютой, мальчишеской ненавистью.

- И что, - спросила мадам Ламбер, всплеснув руками, - ты отдал?

- А зачем отдавать? - удивился Анатолий. - Я пропил его вчера с однокашниками. Там было три рубля и сорок копеек. Мы купили пирогов с ливером и бутылку рому. C'était délicieux.

Князь Василий посмотрел на сына тем же оценивающим взглядом - но теперь во взгляде этом было не удовольствие, как при виде дочери, а что-то другое, похожее на усталость и раздражение. «Он вырастет, - подумал князь. - Или не вырастет. В любом случае, с ним ещё будет много хлопот». Но вслух ничего не сказал, только махнул рукой, и Анатолий, поняв, что отцу сейчас не до него, исчез так же внезапно, как и появился, хлопнув дверью и чуть не сбив с ног лакея, который нёс на подносе какие-то бумаги.

Дуняша, застёгивая последние пуговицы на платье Элен - крошечные, перламутровые пуговицы, которые едва пролезали в петли, - украдкой перекрестила барышню, потому что у неё, у Дуняши, было правило: всякий раз, когда барышня надевала новое платье или выходила в первый раз, крестить её на удачу, чтобы Бог сохранил и от пьяных офицеров, и от злых языков, и от самой красоты, которая, как знала Дуняша по своему небольшому, но горькому опыту, приносит женщине не радость, а одно горе. «Растёт девка на горе себе, - думала Дуняша, затягивая последний узелок на поясе. - Красота - не радость, а обуза. Хороша слишком - вот и страшно. C'est dangereux, la beauté». И она перекрестилась ещё раз, уже явно, и Элен, чувствуя это дуновение пальцев на затылке, чуть обернулась и улыбнулась - той улыбкой, которая ничего не значила, но которую Дуняша запомнила на всю жизнь.

Князь Василий подал знак, и все засуетились. Мадам Ламбер накинула на плечи Элен тёплую шаль - хотя в карете и так было жарко, но положено было иметь шаль на случай сквозняка, - и повела её к выходу. Дуняша побежала следом, чтобы помочь сестре в карету и поправить подол, если платье зацепится за подножку.

На улице было морозно - градусов пятнадцать, не меньше, - но небо стояло ясное, чистое, такого глубокого, тёмно-синего цвета, какой бывает только в петербургском феврале, когда солнце уже светит ярко, но греет всё ещё плохо, и воздух сух, и каждая снежинка, если приглядеться, переливается и горит, как мелкий алмаз. Иней на стёклах экипажа искрился, пере-

ливался всеми цветами - и розовым, и голубым, и зелёным, - и Дуняша, глядя на это, невольно подумала: «Господи, как красиво. И барышня сегодня красивая. Но отчего же на душе так тревожно?»

Карета была подана - большая, гербовая, с высокими рессорами и с козлами, на которых сидел кучер в синей ливрее и в высокой бобровой шапке. Князь Василий помог Элен забраться внутрь - она ступала осторожно, потому что боялась испачкать подол в мокром снегу, который лежал на крыльце и уже начинал таять под чьими-то ногами, - и сел напротив неё. Изнутри карета была обита тёмно-синим бархатом, в углу висела лампадка, и пахло дорогими духами, теми самыми, которыми пользовалась покойная княгиня, мать Элен и Анатоля, умершая пять лет назад и с тех пор почти забытая всеми, кроме старых слуг.

- Ну, с Богом, - сказал князь Василий, и карета тронулась, мягко покачиваясь на рессорах.

Дуняша осталась на крыльце. Она провожала карету глазами, пока та не скрылась за поворотом, и всё думала: «Что из неё вырастет? Красавица, это ясно. Но счастлива ли она будет?» Она вспомнила свою собственную судьбу - как её, восемнадцатилетнюю, отдали замуж за пьяницу-кучера, который бил её по пьяной лавочке и умер через год от белой горячки, оставив ей только долги и синяки. «Красота, - подумала она, - она как деньги: много - хорошо, но и много - страшно. А у барышни, может, всё будет иначе. Она княжеская дочь. За ней ухаживать будут, а не бить».

Она перекрестилась в последний раз, глядя на чистое, морозное небо, на котором уже начали появляться первые вечерние звёзды, и пошла в дом - доделывать шитьё, потому что завтра опять будут гости, и опять надо будет подавать и убирать, и опять вся эта суета, из которой, казалось, не было ни выхода, ни конца.

Старая Фёкловна, когда Дуняша вернулась в девичью, спросила, не поднимая головы от чулка:

- Ну что, увезли?

- Увезли, - сказала Дуняша и села на своё место, взяла иглу и начала шить, потому что шить надо было всегда, и мыслям, которые теснились в голове, не было места в этой работе, но они всё равно теснились, и она, вздыхая, шила и думала, шила и думала, и никак не могла отогнать от себя образ Элен - тонкой, улыбающейся, с мраморными плечами, - и слова князя Василия: «красота без расчёта не стоит ничего». И ей казалось, что в этих словах есть что-то страшное, что-то такое, что не должно было слышать одиннадцатилетнее дитя, но было сказано, и дитя кивнуло, и теперь это будет жить в ней и расти, как живёт и растёт зёрнышко, брошенное в землю.

А небо за окном тем временем темнело, звёзды загорались одна за другой, и мороз крепчал, и кто-то в доме играл на клавесине - грустную, старинную мелодию, которую Дуняша слышала уже много раз и которую теперь, в этот вечер, слушала с каким-то новым, непонятным чувством. И ей казалось, что эта мелодия, и это небо, и этот мороз, и девочка, уехавшая во взрослую жизнь, - всё это одно, всё это связано какой-то тонкой, невидимой нитью, которая называется судьбой, и что этой судьбы никто не может избежать - ни княжеская дочь, ни простая горничная. «Всё в руках Божьих, - подумала Дуняша и снова перекрестилась. - Всё в руках Божьих».

Она отложила шитьё, встала, поправила лампаду перед иконой - той самой, что висела в углу над старым, выцветшим ковром, - и пошла в кухню ставить самовар, потому что скоро должен был вернуться князь Василий, и ему, верно, захочется чаю после визита к Шуваловой, и надо было всё успеть, пока господа не начали сердиться и кричать.

V

В большой столовой дома Ростовых на Поварской, где стены были увешаны семейными портретами в тяжёлых золочёных рамах и где пахло воском, начищенным серебром и ещё чем-

то домашним, уютным, что бывает только в старых московских домах, где живут три поколения одной семьи, - в столовой этой, за длинным дубовым столом, накрытым на двадцать персон, собрались к ужину. Граф Илья Андреевич Ростов, раскрасневшийся, весёлый, с тою особенною, праздничною улыбкой, которая появлялась на его лице всякий раз, когда в доме бывали гости, сидел во главе стола и то и дело подливал вино и себе, и соседям, и особенно - дорогому гостю, князю Василию Курагину, который заехал в Москву по пути из Петербурга и, как водится, не мог миновать хлебосольного дома графа, где его всегда ждали и сытный ужин, и хорошее вино, и весёлая, непринуждённая беседа, какой не найти в чопорных петербургских салонах.

Петрушка, молодой лакей, служивший у Ростовых третий год и знавший уже все привычки господ - когда подавать, когда подливать, когда стоять смирно, а когда незаметно выйти, - ходил вокруг стола с тяжёлым серебряным графином в руке и разливал красное вино по хрустальным бокалам, стараясь не звенеть и не проливать, потому что граф не любил пятен на скатерти, хотя сам вечно что-нибудь опрокидывал. Стол был полон народу: сам граф, графиня Наталья Петровна, ещё молодая, но уже располневшая и с тем вечно озабоченным выражением лица, какое бывает у матерей многих детей; их старшая дочь Вера, восьмилетняя девочка с прямыми светлыми волосами и строгим, не по летам серьёзным лицом, которая сидела с прямой спиной и вообще старалась вести себя так, как, по её разумению, должна вести себя благовоспитанная барышня; десятилетний Николай, голенастый, с растрёпанными кудрями, который то и дело вертелся и, наверное, уже пожалел, что его заставили сидеть за столом вместе со взрослыми; шестилетняя Соня, племянница графа, тихая, большеглазая девочка с грустным, задумчивым лицом, которая держалась близко к матери и боязливо поглядывала на гостей; и, наконец, маленькая Наташа, которой было всего четыре года, - румяная, черноглазая, с вечно растрёпанными волосами и с тем выражением живого, непоседливого любопытства, которое не давало ей покоя ни на минуту.

Младенец Петя, которому ещё не исполнилось и года, спал наверху в детской, и его присутствие ощущалось только в том, что графиня то и дело тревожно прислушивалась к звукам сверху и всякий раз, когда оттуда доносился плач, вздрагивала и делала знак няньке. Но пока было тихо, и все сидели за столом, и разговор шёл о том, что больше всего волновало теперь всех - о новых указах императора Павла.

Граф Ростов, налив себе очередной бокал и осушив его с тем весёлым, кричащим звуком, какой он издавал всегда, когда вино было хорошим, обратился к князю Василию:

- Слышал, батюшка, какие указы наш-то государь подписал? Круглые шляпы запрещают, фракки, вальс. Вальс, батюшка! Танцевать, говорят, по-новому нельзя. Это ж что ж такое? Кабы не смешно было - плакать бы хотелось.

Князь Василий, который сидел рядом с графом и с таким видом, как будто делал одолжение, что вообще здесь находится, неторопливо отрезал кусок жареной телятины, положил его в рот, прожевал и только после этого ответил, оглянувшись при этом на дверь - так, как он оглядывался везде, даже в самых безопасных местах, потому что привычка оглядываться вошла у него в плоть и кровь после того, как он увидел, что происходит в Петербурге с теми, кто не успел оглянуться.

- C'est une bêtise (глупость, конечно), - сказал он, и в голосе его послышалась та лёгкая, полупрезрительная усмешка, которой он часто сопровождал свои суждения о людях и событиях. - Но приказы надо исполнять, граф. Мы живём не в екатерининские времена, когда каждый делал что хотел. Теперь порядок. И в порядок этот надо вписаться, хотим мы того или нет.

Граф Ростов вздохнул - тяжело, по-русски, всей грудью, - и налил себе ещё вина. Ему хотелось сказать что-нибудь о том, что Россия не немцы, что прусские порядки ей не к лицу, что настоящая русская жизнь - это широта, удаль, вольность, а не шагистика и боязнь вымол-

вить слово. Но он знал, что говорить такое опасно, и потому промолчал, только вздохнул ещё раз и, чтобы сгладить неловкость, громко и весело сказал:

- Что ж, князь, давайте выпьем за здоровье государя! Как там ни крути, а он наш батюшка, и Бог даст, всё уладится.

Князь Василий поднял бокал, чокнулся, пригубил - и поставил, потому что пить много не любил, считая, что вино туманит рассудок, а в его положении туманный рассудок - непозволительная роскошь.

Петрушка, разливавший вино, всё это слышал и удивлялся. Ему, семнадцатилетнему парню, выросшему в деревне и попавшему в город всего три года назад, были непонятны эти разговоры о шляпах и танцах. Какое дело государю до того, в какой шляпе кто ходит? И как можно запретить танец? Танец - он от души, его не запретишь. Но господа говорили об этом серьёзно, почти со страхом, и Петрушка, не понимая сути, чувствовал только одно: что-то в жизни переменялось, и переменялось не к лучшему. Он вспомнил, как в прошлом году, до смерти императрицы, в доме Ростовых было веселее - гости смеялись громко, говорили свободно, никто не оглядывался на двери и не понижал голоса, когда речь заходила о политике. А теперь - шепоток, боязнь, и даже князь Василий, такой важный, такой, казалось бы, никого не боящийся, и тот оглядывается.

Маленькая Наташа, которая весь ужин сидела на полу под столом, потому что мать не пускала её к столу - «мала ещё, испачкается», - играла с тряпичной куклой, наряжала её и расстёгивала, и никак не могла застегнуть крошечную пуговицу на кукольном платье. Ей было скучно под столом. Она слышала голоса взрослых, топот Петрушкиных сапог, звон посуды, но не понимала ни слова из того, что говорилось, и потому всё больше и больше сердилась на куклу, которая не желала застёгиваться. Наконец ей надоело. Она отшвырнула куклу, вылезла из-под стола - вся в пыли, с растрёпанными волосами, с румянцем на всю щёку, - и, прежде чем мать или кто-нибудь из взрослых успел остановить её, подбежала к князю Василию. Остановилась перед ним, уперев руки в бока, и громко, на всю столовую, так что даже лакеи замерли с подносами, спросила:

- А почему вы говорите не по-нашему?

Князь Василий, привыкший к детским вопросам не более чем к лаю маленьких собачек - то есть не придавая им никакого значения, - усмехнулся и ответил:

- Parce que je suis français, ma petite (Потому что я француз, девочка моя).

Наташа нахмурилась. Она не поняла слов, но тон ей не понравился - слишком ласковый, слишком взрослый, как будто с маленькой разговаривают. Она топнула ногой - не сильно, но сердито - и закричала:

- Неправда! Вы русский! Зачем вы по-чужому говорите? Зачем притворяться?

Она ещё хотела что-то добавить, но в это время мать, графиня Ростова, уже бежала к ней, и Наташа, чувствуя, что сейчас её унесут, успела только крикнуть вдогонку князю:

- Вы нас обманываете! Я знаю!

Графиня схватила её на руки, прижала к себе и понесла из столовой, шепча на ухо: - Что ты делаешь, сумасшедшая? Зачем ты дядю смущаешь? - Наташа, болтая ногами и не чувствуя никакой вины, отвечала громко, так что все слышали: - А он сам смущается! Он неправду говорит! Он русский, а притворяется французом!

Дверь за ними закрылась. В столовой на секунду воцарилась тишина - та самая неловкая тишина, какая бывает после того, как ребёнок скажет то, что все думают, но никто не решается вымолвить. Потом граф Ростов засмеялся - тем громким, раскатистым смехом, который у него всегда был готов на любой случай, - и сказал:

- Ай да Наталья! Вот так отбрила! C'est une petite philosophe (маленький философ), право слово!

Князь Василий тоже засмеялся - но смех его был натянутым, неискренним, и в глазах его мелькнуло что-то похожее на досаду. Однако он был слишком опытным светским человеком, чтобы показывать свои истинные чувства, и потому через секунду уже любезно улыбался и поворачивался к графине с каким-то пустым комплиментом.

Петрушка, уходя с подносом на кухню, всё запомнил. И когда он вышел в коридор, то остановился на секунду, прижал поднос к груди и подумал: «Верно девчонка говорит. Зачем притворяться? Зачем говорить на чужом языке, если он не чужой? Русский - вот язык. А французский - он для господ, для форсу. Но барин-то князь - русский. И все мы русские. Чего же ломаться? Pourquoi mentir? (Зачем лгать?)»

Он занёс поднос на кухню, сдал грязную посуду поварихе и вышел в людскую - маленькую, тесную комнату, где спали холостые лакеи и где пахло квасом, постным маслом и старыми, пропотевшими тулупами. Других слуг там не было - все были заняты по дому. Петрушка подошёл к окну, отодвинул занавеску и стал смотреть на улицу. С крыши падала капель, и снег, который ещё вчера лежал белым покровом, сегодня почернел, стал грязным, рыхлым, и кое-где уже виднелась из-под него земля - мокрая, бурая, неприглядная. Небо было низкое, сырое, обложное, того серого, тяжёлого цвета, какой бывает перед затяжным дождём или перед тем, как всё наконец растает и наступит весна. И в этом небе, в этих облаках, быстро бегущих куда-то на север, было что-то такое, от чего на душе становилось и тоскливо, и светло одновременно.

«Весна идёт, - подумал Петрушка. - Реки тронутся, поля выйдут из-под снега. А господа всё о своём - о шляпах, о танцах, о французском. И девочка маленькая, а правду сказала. Зачем притворяться? Жить надо по-правде».

Он постоял ещё немного, глядя на талый снег и на низкое небо, потом вздохнул, перекрестился на образ в углу - старый, почерневший образ Николая Чудотворца, который висел здесь со времён, когда дом только строили, - и пошёл обратно в столовую, потому что ужин ещё не кончился, и господам надо было подавать десерт, и лакеев не хватало, и граф, чего доброго, начнёт кричать, если вино не будет подлито вовремя.

Проходя мимо дверей детской, он услышал, как внутри уже не плачут, а смеются - и смеётся громче всех Наташа, должно быть, потому что мать дала ей ложку мёда, чтобы успокоить. И Петрушка невольно улыбнулся. «Ничего, - подумал он. - Вырастешь - сама всё поймёшь. И ещё не такое услышишь».

Он толкнул дверь в столовую и снова взялся за графин.

VI

Старый ямщик Ермолай, служивший в извозе двадцать пять лет и возивший и генералов, и купцов, и мелких чиновников, и даже однажды самого графа Орлова-Чесменского, которого помнил потому, что тот всю дорогу ругался и дал на чай целых десять рублей, - сидел на козлах своей брички, правил парой гнедых, неторопливо щёлкал кнутом и поглядывал по сторонам. День был летний, тёплый, с лёгким ветерком, который тянул с полей, пахло свежим сеном и ещё чем-то сладким, должно быть, цветущей гречихой. Дорога шла леском, потом полем, потом снова леском, и было то самое русское лето, когда всё растёт, цветёт, и кажется, что так будет всегда, и никто не думает о том, что зима когда-нибудь вернётся и всё это покроет льдом и снегом.

В бричке, на облезлых кожаных подушках, сидел мальчик - толстый, неуклюжий, с круглым лицом и с глазами, которые были слишком большими и слишком блестящими для его возраста. Ему было двенадцать лет, но выглядел он на четырнадцать, а по своей задумчивости, по тому, как он смотрел на проплывающие мимо поля и леса, - будто искал в них что-то такое, чего другие не видят, - казался иногда взрослым, иногда совсем ребёнком, который ещё не понимает, куда его везут и зачем. Пьер Безухов - незаконный сын старого графа Кирилла Владимировича, которого отец, несмотря на все сплетни и пересуды, признал и теперь отправ-

лял в Париж, чтобы тот учился, набирался ума-разуму и, когда вернётся, уже не позорил бы фамилию своей неуклюжестью и странными речами.

Перед отъездом, у крыльца московского дома на Молчановке, старый граф - больной, с жёлтым лицом и трясущимися руками, но ещё живой и ещё властный - обнял сына, перекрестил его и сказал, стараясь говорить твёрдо, хотя голос прерывался:

- Mon fils (сын мой), apprend, deviens un homme (учись, стань мужчиной). Я уже стар и, верно, не дождусь твоего возвращения. Но ты должен стать таким, чтобы о тебе говорили с уважением. Не как обо мне - обо мне говорят, что я старый грешник, - а как о человеке честном и умном. C'est tout ce que je te demande (вот всё, о чём я тебя прошу).

Пьер кивнул, не поднимая глаз. Он не умел прощаться - не потому, что не любил отца, а потому, что всякое прощание казалось ему чем-то страшным, окончательным, как смерть. Он полез в бричку, зацепился полкой сюртука за подножку, чуть не упал, покраснел, наконец уселся и устался в пол. Ермолай щёлкнул кнутом, лошади взяли с места, и бричка, покачиваясь, выехала со двора.

Дорога была долгая - Ермолаю велели везти Пьера только до Петербурга, а там пересадка, другой ямщик, а может, и вовсе карета. Но пока они ехали вместе, и старый ямщик время от времени оборачивался, чтобы посмотреть на барина, который всё молчал и смотрел вдаль, на поля, на леса, на проплывающие деревни, где бабы в белых платках работали в поле, а мужики в лаптях и рваных рубахах брели по обочине, шапки сняв, когда мимо проезжал кто-то похожий на господина.

Пьер думал. Думал он много и о многом - больше, чем следовало двенадцатилетнему мальчику, которого отправили учиться за границу. Он думал о том, почему люди не равны: одни родились богатыми, другие - бедными; одни умеют читать и писать, другие - нет; одни повелевают, другие подчиняются. И казалось ему, что это несправедливо, и что нужно как-то это исправить, и что он, Пьер, когда вырастет, непременно что-нибудь сделает, чтобы все люди были счастливы. Но как - он не знал. И от этого незнания становилось тоскливо, и он начинал смотреть на облака, которые бежали по высокому летнему небу, и думать о том, что облакам хорошо - они плывут, куда ветер дует, и никто их не спрашивает, и никто им не приказывает.

- Почему люди убивают людей? - спросил он вдруг вслух, не оборачиваясь к Ермолаю, а так, будто спрашивал у самого неба.

Ермолай услышал, но не понял. Он подумал, что барин спрашивает о чём-то своём, о том, что ему, ямщику, не дано понять, и потому промолчал.

- Зачем одни повелевают, а другие подчиняются? - продолжал Пьер, и в голосе его слышалась не детская обида, а какая-то взрослая, горькая недоумённость. - Je veux comprendre le monde (я хочу понять этот мир). Но он не хочет, чтобы его понимали.

Он замолчал, откинулся на подушки и закрыл глаза. В бричке было тепло, пахло кожей, лошадьми и ещё какой-то травой, должно быть, прилипшей к колёсам. Пьер не спал - он думал, и мысли его были тяжёлыми, неповоротливыми, как те самые камни, которые он однажды видел на берегу реки - большие, серые, мшистые, которые никто никогда не сдвинет с места.

Ермолай, обернувшись, увидел, что барин не плачет, но и не улыбается. Лицо у него было бледное, напряжённое, и глаза, когда он их открыл, смотрели куда-то внутрь, на свои собственные, неведомые ямщику мысли.

- Барин, - сказал Ермолай, чтобы хоть как-то нарушить тишину, которая становилась тяжёлой, как перед грозой, - не скучайте. Дорога дальняя, а в Париже, говорят, весело. Там и театры, и балы, и всякие заведения для благородных. Граф ваш, верно, не обидит - денег даст. Погуляете, людей посмотрите, себя покажете.

Пьер услышал, но не сразу понял. Потом повернулся к Ермолаю, и в глазах его вспыхнуло что-то похожее на удивление - что ямщик, простой мужик, думает о театрах и балах.

- Весело? - переспросил он. - Там ещё недавно казнили людей на площадях. Каждый день. Казнили за то, что они думают не так, как те, у кого власть. *C'est la révolution*. Там не до балов.

Ермолай не понял французских слов. Он вообще не знал французского, потому что в их деревне не было ни гувернёров, ни пансионеров, а учили только Богу молиться да в поле работать. Но он заметил, что лицо у барина стало ещё бледнее, и на глазах выступили слёзы - не те горькие, громкие, какие бывают у детей, когда их наказывают, а тихие, скупые, которые текут по щекам сами собой, и тот, кто плачет, даже не замечает их, пока не почувствует солёный вкус на губах.

«Что ж это? - подумал Ермолай. - Плачет мальчик. О чём? О том, что во Франции убивали людей? Или о том, что его отправили одного в чужую сторону?» Ему стало жаль барина - той простой, безыскусной жалостью, какую старый человек чувствует к молодому, который идёт туда, куда сам он уже не пойдёт.

Он помолчал, потом стегнул лошадей - не больно, так, для порядку, - и сказал, глядя прямо перед собой:

- Ничего, барин. Везде люди, везде и смерть. И в Париже люди, и в Москве. А вы не плачьте. Вы молодой, вам жить да жить. Может, и к лучшему, что посылают вас в чужие края. Ума наберётесь, а без ума - что без рук.

Пьер вытер слёзы рукавом - неуклюже, по-детски, - и снова уставился на небо. Небо было высокое, летнее, того самого чистого, глубокого синего цвета, какой бывает только в июне, когда земля уже прогрелась, а дожди ещё не пошли. Облака бежали по небу, и Пьер смотрел на них, и думал о том, что облака не знают ни горя, ни радости, ни страха, ни надежды - они просто плывут, и им всё равно, кто на них смотрит и какие мысли приходят в голову тому, кто лежит в бричке и едет неизвестно куда.

Он закрыл глаза и попробовал представить Париж - большой, шумный, с высокими домами и узкими улицами, где ещё недавно казнили людей. Но Париж не представлялся. Вместо него представлялась Москва - знакомая, родная, с запахом пирогов и колокольным звоном. И отец, старый граф, который остался там, на крыльце, и махал ему рукой, пока бричка не скрылась за поворотом.

«Вернусь ли я? - подумал Пьер. - Увижу ли я его ещё?»

И ответа не было. Потому что ответа никто не знал - ни он, двенадцатилетний мальчик, ни Ермолай, старый ямщик, ни сам граф Кирилл Владимирович, который, может быть, умрёт раньше, чем сын доедет до границы.

Ермолай ехал молча, только изредка покрикивал на лошадей и щёлкал кнутом. Дорога шла в гору, потом под гору, и бричка скрипела, и колёса стучали по камням, и ветер свистел в ушах. Ямщик думал о своём - о доме, о жене, о детях, которые остались в деревне, и о том, что осенью надо будет косить сено, а дров на зиму ещё не запасено. А ещё думал о том, как странно устроена жизнь: вот он, мужик, везёт барина в дальнюю дорогу, на чужбину, а барин плачет оттого, что люди убивали людей. А сам барин, если захочет, тоже может убить - не своими руками, так чужими, потому что у него деньги есть, а у кого деньги, у того и власть. И никто его не спросит: зачем убил? А почему так - ни Ермолай, ни Пьер, ни самый умный человек не объяснят.

«Эх, жизнь, - подумал Ермолай и стегнул лошадей. - Жизнь - она как дорога: едешь и не знаешь, что за поворотом. Может, село, может, яма, может, разбойники. А ехать надо».

Он обернулся на барина. Пьер спал, свернувшись калачиком на облезлых подушках, и лицо у него во сне было спокойное, детское, без той задумчивости и боли, которая мучила его днём. Ермолай посмотрел на небо - высокое, синее, с быстро бегущими облаками, - переkreстился и погнал лошадей быстрее, потому что до ночлега оставалось ещё вёрст пятнадцать, а темнело летом поздно, но всё же темнело, и надо было успеть, пока совсем не стемнело, и пока барин не проснулся и не начал снова спрашивать о том, на что нет ответа.

Лошади побежали рысью, и бричка застучала чаще, и пыль поднялась из-под колёс, и на секунду закрыла и небо, и поля, и лес, и потом только снова осела. Ермолай смотрел вперёд и думал о том, что всё это - пыль, дорога, слёзы барина, - всё это пройдёт, останется только память, да и та сотрётся, как эти колёсные следы на пыльной дороге сотрёт первый же дождь. И жизнь пойдёт дальше, и никто не вспомнит, что старый ямщик вёз двенадцатилетнего мальчика в дальнюю дорогу, на чужбину, а тот плакал о том, чего нельзя поправить.

VII

Старый повар Карп, служивший на кухне Болконских ещё при покойном князе, отце нынешнего, и помнивший такие времена, когда в Лысых Горах и не слышали ни о каких прусских мундирах, ни о вахтпарадах, а всё делалось по старине, дедовским обычаем, - стоял у огромной, сложенной из голландского кирпича печи, помешивая в чугунном котле уху из стерляди, которую старый князь любил больше всех прочих кушаний и требовал к столу всякий раз, как возвращался из поездок. Карп был толст, красен лицом, с седыми усами и маленькими, быстрыми глазами, которые, казалось, видели всё, что делается на кухне, но не видели ничего, что делается за её пределами. Однако в этот день Карпу пришлось увидеть и услышать больше, чем обычно, потому что дверь из кухни в столовую была притворена не до конца, и сквозь щель доносились голоса старого князя и молодого барина - князя Андрея, который всё лето прожил в Лысых Горах, смотрел за хозяйством, и, как говорили дворовые, очень скучал и всё поглядывал на дорогу, будто ждал кого-то, кто не приезжал.

Старый князь вернулся из Петербурга двумя днями ранее - злой, усталый, с таким лицом, что даже дворовые, выдавшие всякое, старались попадаться ему на глаза пореже. Он никого не бил и не ругал, но ходил по дому, стуча палкой, и говорил вполголоса, и то и дело повторял какое-то одно слово, которое Карп не разобрал, но которое, как он понял, было нехорошим. А сегодня, после обеда, старый князь позвал сына в столовую, и Карп, поставив уху на огонь и распорядившись, чтобы помощник нарезал хлеб, сам пошёл послушать, потому что любопытство, которое у него было с детства, не угасло и в старости, хотя он и знал, что барину это не понравилось бы.

В столовой, большой, сумрачной комнате с портретами предков на стенах и с длинным дубовым столом, за которым в парадные дни собиралась вся семья, старый князь сидел на своём обычном месте - в кресле с высокой спинкой, - и, хотя был уже не в дорожном платье, а в домашнем сюртуке, всё ещё выглядел так, будто только что вернулся с вахтпарада: лицо его было красным, глаза горели тем особенным, недобрым огнём, который появлялся у него всякий раз, когда он говорил о политике. Андрей стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел не на отца, а куда-то вдаль, на сад, где уже начинал желтеть дуб, и на низкое, осеннее небо.

- Павел безумен, - сказал старый князь, не повышая голоса, но так, что каждое слово звенело, как натянутая струна. - Это не то безумие, которое лечат доктора, - нет, это безумие власти, безумие человека, который вдруг понял, что ему всё позволено. *C'est un fou dangereux* (это опасный безумец). Он хочет переодеть всю армию в прусские мундиры. Всю армию, слышишь? Наши суворовские чудо-богатыри будут ходить в тесных колетах и высоких ботфортах, как какие-нибудь фридриховские солдатики. А Суворова - в опалу. Суворова, который Россию прославил на всю Европу, - в ссылку. За что? За то, что он смел иметь своё мнение и не побоялся сказать: «Пудра не пушка, буклю не пушка, коса не тесак, а я не немец».

Андрей молчал. Он знал, что когда отец начинал говорить таким тоном, лучше было не перебивать, потому что каждое слово находило свою дорогу и без чужой помощи. Но он всё же не выдержал и, продолжая смотреть в окно, проговорил, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно, хотя внутри всё кипело:

- Mais c'est ridicule, mon père (но это смешно, батюшка). Как можно отправлять в опалу человека, который выиграл столько сражений? Это же не просто глупость - это... - он не нашёл слова.

- Это самоубийство, - закончил за него старый князь. - Самоубийство России. Потому что без армии мы ничто. А он, видите ли, хочет, чтобы армия была красивой. Чтобы она маршировала, как на параде. Чтобы все пуговицы блестели. Про то, что пуля - дура, а штык - молодец, он уже забыл. Ему нужны не солдаты, а куклы. И вся Россия, по его замыслу, должна стать кукольным театром, где он один - кукловод.

Карп, стоя у печи и прислушиваясь, удивлялся. Он не понимал многих слов - что такое «опала», что такое «колет», - но он понимал главное: барин ругает царя. И ругает так, как будто царь не помазанник Божий, а простой человек, который делает глупости. И ещё удивлялся Карп тому, что барин - старый князь - говорит слова вроде бы русские, а между ними вдруг вставит что-то непонятное: «C'est un fou dangereux». И Андрей, молодой барин, тут же отвечает тоже на непонятном: «Mais c'est ridicule, mon père». И Карпу показалось, что они говорят на этом непонятном языке потому, что боятся, что их услышит кто-то, кто донесёт царю. А на кухне - не донесут. Или боятся стены? Но стены, как известно, уши имеют - это Карп знал твёрдо.

- Молчи, - вдруг сказал старый князь, стукнув линейкой по столу так, что графин подпрыгнул, - не громко, но внушительно. - Молчи и слушай. La prudence est la mère de la sagesse (осмотрительность - мать мудрости). Запомни это. С языком сейчас надо быть осторожнее, чем когда-либо. Скажешь лишнее слово - и пропал, и меня за собой потянешь. А Марья? Ей девятнадцать лет. Кто о ней позаботится, если нас обоих сошлют в Сибирь?

Андрей повернулся от окна. Лицо его было бледно, губы сжаты, и в глазах - тех самых серых, глубоких глазах, которые так любила покойная мать, - стояла такая мука, что Карпу, хоть он и не был человеком чувствительным, стало жаль барина.

- Я понимаю, mon père (батюшка), - сказал Андрей. - Я молчу. Но сколько можно молчать? Когда же наступит время, когда можно будет сказать правду в глаза?

- Никогда, - сказал старый князь, и голос его прозвучал с такой уверенностью, что Карп невольно перекрестился. - Правду в глаза не говорят. Никогда. Её говорят в спину, когда человек уже не может ответить, или пишут в дневниках, которые сжигают перед смертью. А живые - молчат. И ты молчи.

Он замолчал, устало откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Карп понял, что разговор кончен, поставил уху на стол - в серебряной супнице, паром дышащую, с зеленью укропа сверху, - и хотел уже уходить, как вдруг услышал, как старый князь сказал, обращаясь не к Андрею, а к самому себе:

- Доживём ли мы до лучших времён? Или так и погрём, не дождавшись?

Андрей ничего не ответил. Карп вышел на кухню, сел на лавку и долго сидел молча. Помощник спросил было: «Что там, дядя Карп?» - но Карп только рукой махнул. Потом встал, подошёл к окну, выходившему в сад, и стал смотреть на дуб - тот самый, огромный, раскидистый, который рос у дома ещё со времён деда. Дуб этот ещё месяц назад был зелёным, свежим, и ветви его тянулись к солнцу. А теперь, в сентябре, листья на нём уже начали желтеть, и кое-где виднелись красные прожилки, и Карпу подумалось, что дуб этот - как жизнь человеческая: сначала тянется к свету, растёт, ширится, а потом приходит старость, и листья желтеют, и ветви гнутся, и всё идёт к своему концу. И никто не может этот конец отодвинуть - ни царь, ни князь, ни самый богатый и сильный.

«А они всё ругаются, - подумал Карп. - Царь на придворных, придворные на царя. А нам, мужикам, что с того? Одно остаётся: работать, молиться и ждать, пока всё само как-нибудь устроится. Или не устроится. Как Бог даст».

Он посмотрел на небо - низкое, осеннее, сплошь затянутое серыми облаками, - и подумал, что теперь до самой весны небо будет таким: хмурым, холодным, неудобным. И жизнь такая же: хмурая, холодная, и неизвестно, когда придёт весна. Может, скоро, а может, и никогда.

Он вздохнул, перекрестился на образ в углу - старенький, почерневший от времени, - и пошёл доделывать свои поварские дела, потому что у князя на ужин заказана была ещё стерлядь под соусом, и уха уже простыла, и надо было греть её заново, а старого князя, как знал Карп, если уха будет холодная, лучше и на глаза не показываться. Но мысли его всё ещё были там, в столовой, где барин и сын говорили о таких вещах, о которых простому человеку лучше не задумываться, а если и задумываться, то про себя, и никому, даже жене, не пересказывать, потому что язык - он без костей, и что скажешь сегодня, завтра может обернуться против тебя самого.

Карп поставил уху на плиту, прикрыл крышкой и долго смотрел, как она закипает, пузырится, и думал о том, что жизнь - она как этот суп: варится, варится, а потом её выливают, и никто не вспомнит, какой она была на вкус. И князя варились, и цари варились, и все сварятся и выльются. А земля останется, и дуб останется, и небо останется. И кто-то другой будет смотреть на это небо и думать свои думы - такие же горькие, такие же неразрешимые, как у старого князя сегодня.

Андрей тем временем, оставшись один в столовой, подошёл к окну. Дуб жёлтым пятном маячил на сером фоне неба, и ветер шевелил его ветви, и листья шуршали, и казалось, что дерево что-то шепчет - может быть, жалобу, может быть, проклятие, а может быть, просто осеннюю песню о том, что всё проходит. Андрей смотрел на дуб и думал: «Когда же начнётся настоящая жизнь? Неужели я так и буду молчать, и смотреть на этот дуб, и ждать, пока отец умрёт? А потом приедет другой царь, и всё повторится, и снова надо будет молчать, и снова ждать, пока кто-нибудь умрёт?» И ему захотелось крикнуть во весь голос, чтобы все услышали: «Я не хочу молчать! Я хочу жить!» - но он не крикнул, потому что отец был прав: сейчас за слова можно было поплатиться и головой.

Он постоял ещё немного, потом повернулся и вышел. Шаги его застучали по полу, дверь хлопнула, и в доме стало тихо. Тишина эта была такой глубокой, что Карп слышал, как шуршат листья за окном, и как где-то далеко лают собаки, и как тикают часы в кабинете у старого князя. И ему подумалось, что эта тишина - не простая тишина, а та, которая бывает перед бурей. И буря ещё придёт. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но придёт обязательно.

Карп снял уху с плиты, поставил её на стол и перекрестился. «Господи, - прошептал он, - помилуй нас, грешных». И не знал он, что этими словами молился не только за себя, но и за старого князя, и за Андрея, и за всю Россию, которая, как этот дуб, стояла посреди поля, обвеваемая ветрами, и не знала, когда придёт весна.

VIII

Посреди большой гостиной, стояла ёлка. Ёлка была привезена из подмосковного леса ещё вчера, и всю ночь простояла в сенях, оттаивая, а сегодня утром её внесли в залу, и Агафья с двумя девками-горничными уже четвёртый час вешала на неё игрушки: стеклянные шары, золотых рыбок, фарфоровых ангелочков, пряничных человечков, которых она сама испекла вчера на кухне, и бумажные цепи, которые клеили дети. Пахло хвоей, воском и чем-то сладким, праздничным, и в печах трещали дрова, и за окном мороз рисовал на стёклах серебряные узоры, и всё в доме было так, как бывало каждый год, и каждый год всё повторялось, но каждый раз казалось новым и радостным.

Агафья, поправив съехавшую набок звезду, которую она уже трижды привязывала к макушке ёлки, вздохнула и подумала: «Вот и святки пришли. А кажется, только вчера было лето, только вчера косили сено, и вот уже мороз, и ёлка, и дети бегают, и смеются, и никто не думает, что когда-нибудь всё это кончится. И слава Богу, что не думают. Детям положено сме-

яться, а старикам - вздыхать». Она уже хотела было привязать звезду в четвёртый раз, как вдруг дверь в гостиную с шумом распахнулась, и в комнату вбежала Наташа - пятилетняя, румяная, в отцовском халате, перехваченном кушаком, и с цветным платком на голове, завязанном так, что он торчал вверх, как чалма на турецких картинках, которые Агафья видала в книжках у барина. Халат волочился по полу, платок сползал на глаза, но Наташа была совершенно счастлива и, остановившись посередине комнаты, уперев руки в бока, закричала на всю гостиную:

- А я - султанша! Посмотрите все! Я самая главная султанша на свете! Я еду на войну! Regardez, je vais à la guerre! (Смотрите, я еду на войну!) - выкрикнула она по-французски, потому что гувернантка учила их с Верой французскому языку и Наташа, хотя не понимала и половины, любила вставлять французские слова туда, где они были совсем не нужны, - просто потому, что это казалось ей важным и взрослым.

Николай, одиннадцатилетний мальчик, голенастый, с уже пробивающимися бакенбардами, которые он сам выщипывал по ночам, сидя перед свечой, сидел в кресле и, развываясь по-барски, смотрел на сестру с насмешкой. Он был одет в пажа - костюм, который ему сшили к святкам, - и чувствовал себя ужасно взрослым и ужасно важным, потому что ему уже одиннадцать и скоро его отдадут в военную школу, где он будет учиться на настоящего офицера.

- Султанша без сабли, - сказал он, усмехнувшись и даже не повернув головы. - Какой же султан без сабли? Разве настоящая султанша ходит с голыми руками? Её любой разбойник победит.

Наташа нахмурилась. Она не поняла слова «султанша» до конца, но поняла, что брат над ней смеётся, а этого она терпеть не могла больше всего на свете - когда смеются над ней, когда не принимают её всерьёз, когда думают, что она маленькая и ничего не понимает.

- А вот и сабля! - закричала она. - Сейчас я тебе покажу!

И, не долго думая, сняла с ноги туфельку (одну, левую), размахнулась и запустила ею в брата. Туфелька пролетела мимо, ударилась о стену, сбила с ёлки серебряного ангелочка, и тот, звякнув, покатился под стол. Агафья, стоявшая на табурете, чуть не упала, ухватила за ёлку, и ещё три игрушки - стеклянный шар, золотая рыбка и пряничный человечек - слетели вниз и разбились. Шар лопнул с тонким, жалобным звоном, рыбка раскололась пополам, а пряничный человечек, который Агафья так старательно пекла и глазировала, упал на пол и разломался на три куса.

- Ах, батюшки! - закричала Агафья, спрыгивая с табурета. - Что же это делается? Четверть работы на пол - и всё прахом! Барышня, Наталья Ильинишна, зачем же туфелькой кидаться? Разве так можно? Граф вас заругает, вот увидите!

Наташа стояла на одной ноге, снятую туфельку держала в руке, другую туфельку потеряла где-то по дороге, и лицо у неё было такое, будто она сама удивилась тому, что наделала. Сначала ей хотелось заплакать - от обиды, оттого, что брат засмеялся, оттого, что колет нога о холодный пол, - но потом она посмотрела на разбитые игрушки, на осколки стеклянного шара, которые разлетелись по всему паркету, и вдруг расхохоталась - громко, звонко, так, что даже Агафья улынулась сквозь своё ворчание.

- Ах, как весело! - закричала Наташа. - Смотрите, смотрите, рыбка пополам! Теперь у неё хвост отдельно, а голова отдельно. И пряничный мальчик рассыпался! Давайте съедим его! Он всё равно уже сломался, от него не будет пользы на ёлке.

Она подбежала к пряничному человечку, схватила кусок и сунула в рот. Но пряник был старый, чёрствый, и Наташа, пожевав, сморщилась и выплюнула его в руку.

- Невкусный, - сказала она. - Зачем такие на ёлку вешать, Агафья? Пекла бы мягкие.

Агафья только рукой махнула и стала собирать осколки.

В это время в дверях показался граф Илья Андреевич - раскрасневшийся, с блестящими глазами, в расстёгнутом сюртуке, потому что он только что вернулся с прогулки и ещё не успел переодеться. Он увидел разбитые игрушки, и Наташу на одной ноге, и Николая, который попы-

тался принять вид невинный, но не успел, и догадался, что здесь что-то произошло. Но вместо того чтобы рассердиться, он вдруг улыбнулся той широкой, доброй улыбкой, которая делала его похожим на большого, добродушного медведя, и сказал, разводя руками:

- *Quelle joie, mes enfants* (какая радость, детки)! Вот это святки! Вот это веселье! В моё время мы и не такое вытворяли. Однажды я на святках запустил подсвечником в сахарную голову - и сахар разлетелся, как снег! А бабушка моя, княгиня Софья Дмитриевна, рассердилась, но потом сама смеялась.

Агафья не поняла французских слов графа, потому что французскому её не учили, и единственное французское слово, которое она знала, было «*merci*», да и то она произносила его как «мерси» и использовала только тогда, когда кто-нибудь из господ дарил ей что-нибудь на праздник. Но она поняла по лицу графа, что он не сердится, и потому улыбнулась - той облегчённой, старческой улыбкой, какую улыбаются, когда ожидаемое наказание вдруг проходит мимо.

- Не сердчайте, ваше сиятельство, - сказала она. - Я сейчас уберу. А дети - они всегда дети. Вырастут - умнее будут.

Граф Ростов только рукой махнул и пошёл переодеваться, бросив на прощание: - А к ужину чтоб ёлка была как новая, Агафья! И звёздочку на макушку поправь - она у тебя опять набок съехала.

Агафья вздохнула, взяла табурет, привязала звезду в четвёртый раз - теперь, наверное, уже намертво, - и только хотела начать вешать новые игрушки вместо разбитых, как услышала позади какой-то шорох. Она обернулась и увидела, что Наташа, забыв про ссору с братом и про разбитую рыбку, забралась на стол, со стола - на подоконник, а с подоконника уже тянулась к ёлке, пытаясь дотянуться до той самой звезды, которую Агафья только что привязала.

- Барышня! - закричала Агафья. - Упадёте!

Но Наташа уже не слышала. Она уцепилась за ветку, ветка хрустнула, ёлка накренилась, и Наташа, не удержав равновесия, полетела вниз - прямо в сугроб иллюзорный, которого, впрочем, не было, потому что на полу лежал только паркет, и жёсткий, и холодный, и удариться об него было больно. Но чудом она упала не на паркет, а в груды мягких подушек, которые Агафья с вечера сложила в углу, чтобы потом разложить их по диванам. Подушки смягчили падение, и Наташа, вынырнув из них, вся в перьях и кружевах, захохотала опять - так громко и заразительно, что Николай, который уже почти обиделся на неё за туфельку, тоже не выдержал и засмеялся.

- Смотри, - сказал он, показывая на неё пальцем, - теперь ты не султанша, а курицанаседка! В перьях вся!

- А вот и нет! - закричала Наташа, вылезая из подушек. - Я - звезда! - и она сорвала с ветки бумажную звезду, которую Агафья вешала последней, и прикрепила её к своей чалме. - Видишь? Теперь я самая главная звезда на ёлке!

Николай засмеялся ещё громче. Агафья стояла, смотрела на эту кутерьму и не знала, то ли плакать, то ли смеяться вместе с ними. Ветка на ёлке обломилась, игрушки валялись на полу, звезда - та, самая главная, стеклянная, - была поцарапана, потому что Наташа, хватаясь за ёлку, задела её и сбила, и теперь она лежала на ковре, и одно из её заострённых лучей откололось и закатился под диван. Но Агафья почему-то не сердилась. Она вдруг подумала о том, что всё это - и ёлка, и игрушки, и звёзды, и детский смех, и ссоры, и примирения, - всё это и есть жизнь, и что без всего этого жизнь была бы пустой и скучной, и что дети вырастут, и будут свои дети, и тоже будут таким же образом разбивать игрушки и ссориться, и мириться, и вешаться на ёлку, потому что иначе нельзя. Так уж устроен мир. Так уж заведено.

Она подошла к Наташе, взяла её на руки (девочка была лёгкая, как пёрышко), сняла с её головы остатки бумажной звезды, поцеловала в лоб и сказала:

- Эх, баловница. Что же ты делаешь? Графиня заругается. Иди-ка лучше в детскую, переоденься. Вечером гости придут, надо быть красивой.

- А я и так красивая, - сказала Наташа, но послушно вылезла из подушек, подобрала потерянную туфельку и, прихрамывая, убежала в детскую, оставив за собой след из перьев и ёлочных иголок.

Агафья посмотрела ей вслед, перекрестилась - широко, по-старинному, - и взялась убирать. Она подмела осколки, собрала упавшие игрушки, поправила обломанную ветку, повесила новые шары вместо разбитых. Уже вечерело, и за окном морозный воздух синел, и на сером, предвечернем небе зажглись первые звёзды - мелкие, частые, колючие, как те осколки, что она теперь собирала в совок. Агафья остановилась на минуту, посмотрела в окно на эти звёзды - те самые, что горели и при её бабушке, и при матери, и будут гореть, когда ни её, ни графа, ни маленькой Наташи, которая только что играла в звезду, уже не останется на свете, - и вздохнула. «Всё проходит, - подумала она. - И ёлка простояла, и игрушки разбились, и дети выросли, и старики состарились. А звёзды всё те же. И небу, верно, всё равно, кто там внизу живёт и какие игрушки разбивает».

Она закончила убирать, вытерла руки о фартук, подошла к окну. Небо было звёздное, морозное, такое, как и положено быть в декабре, когда Бог зажигает звёзды рано, а гасит поздно, и люди, глядя на них, думают о вечном, но вечное так и остаётся вечным, а люди - людьми: ссорятся, мирятся, бьют посуду, и только старые ключницы собирают осколки и вздыхают. Агафья улыбнулась собственным мыслям, перекрестилась ещё раз и пошла на кухню - ставить самовар к чаю, потому что скоро должны были приехать гости, а гостей без чаю не принимают, и самовар должен кипеть, и пироги должны быть горячими, и всё должно быть как положено, потому что порядок - он и есть порядок, и без него никуда.

И уже выходя из гостиной, она услышала, как сверху, из детской, доносится смех - Наташа, должно быть, мирилась с Николаем, и они вместе что-то выдумывали, и голоса их звучали так весело, так беспечно, что Агафья невольно улыбнулась, покачала головой и пошла своей дорогой, тихонько напевая старинную рождественскую песню, которую пела ещё её мать, - слова были давно забытые, а мелодия осталась, и жила в ней, и грела душу, как греет огонь в печи в зимний вечер.

Х

День был августовский, жаркий, душный, с той тяжёлой, свинцовой тишиной, какая бывает перед грозой. В доме графа было тихо - хозяин третий день не выходил из кабинета и никого не принимал, и слуги ходили на цыпочках, боясь потревожить. Только поутру пришла почта из-за границы, и граф, получив письмо, долго сидел над ним, потом позвал управляющего и сказал: «Пьер пишет. Жив, здоров. Просит разрешения вернуться. Но я думаю - пусть ещё год поучится. Франция, говорят, успокаивается. Террор кончился, якобинцев разогнали. Теперь там консулы правят, и, кажется, становится тише».

Управляющий, старый немец, поклонился и вышел. А слухи по дому пошли такие, что молодой барин Пьер, которому тринадцать лет, пишет из Парижа страшные письма, и что Франция, говорят, уже не та, что была, и что там новый правитель, какой-то Бонапарт, усмирил всех и теперь собирает армию, и неизвестно, на кого. Семён, чистая сбруя, слушал вполуха и думал о своём. Думал он о том, что вот граф стар и болен, а наследник - мальчишка за границей, и неизвестно, придёт ли ему, Семёну, ездить с этим мальчишкой или так и останется при старом хозяине до самой его смерти. Смерти он не боялся - видал, как умирают старые господа, и знал, что после смерти всё равно надо жить и служить новому барину. Но ему не нравилась мысль, что новый барин будет тот самый толстый, неуклюжий мальчик, который когда-то, ещё до отъезда, бегал по двору и всё спрашивал у дворовых, почему небо голубое и почему люди не летают.

- Чудной он, - сказал Семён вслух, не обращаясь ни к кому. - И глаза у него не как у всех. Смотрит и будто видит что-то такое, чего мы не видим.

- А что, - спросила кухарка, толстая Марфа, подоившая корову, - вернётся, говорят? За ним, поди, присмотр нужен. Как бы не наделал глупостей.

- Не наделает, - ответил Семён. - Он смирный. Только задумчивый очень. А задумчивые редко глупости делают. Они больше про себя переживают.

В людской засмеялись. Семён обиделся - не на смех, а на то, что его не поняли. Он хотел сказать что-то ещё, но в это время из дома вышел графский камердинер, Григорий, и сказал, что граф требует заложить карету - ехать в город, к князю Курагину. Семён встал, надел тулуп, пошёл в конюшню запрягать.

В карете граф поехал один, и Семён, сидя на козлах, слышал, как старый барин тяжело вздохнул, усаживаясь на подушки, и сказал сам себе по-французски: «Que faire, mon Dieu? Il est encore si jeune. Что делать, Господи? Он ещё так молод». Семён не понял, о ком это граф, но догадался, что о Пьере. Боялся, верно, что мальчик пропадёт в чужой стороне. Или боялся, что сам не доживёт до его возвращения. Так и ехали молча, только колёса стучали по булыжнику, и над Москвой собиралась гроза, и душно было, и низко, и давило на грудь.

У дома князя Василия граф пробыл недолго - вышел бледный, злой, хлопнул дверцей и велел ехать обратно. Семён обернулся и увидел, как из окна второго этажа смотрит княжна Элен - тоненькая, с мраморными плечами, - и улыбается. Но улыбка её была какая-то пустая, ненастоящая, и Семёну стало не по себе. Он тронул лошадей, и карета покатилась назад.

В тот же вечер в доме графа Безухова узнали новость, которая облетела всю Москву: император Павел подписал указ, запрещающий молодым людям выезжать за границу на учёбу без специального разрешения. Теперь Пьер, как и многие русские дворяне, не мог вернуться, потому что был отправлен до указа, но и оставаться не мог - потому что указ требовал вернуть всех. Граф сидел в кабинете, перечитывал письмо сына и думал. А Семён, стоя у конюшни, смотрел на небо. Гроза уже прошла стороной, только прошумела и ушла, но воздух стал чище, и на чёрном, высоком небе зажглись первые звёзды.

«Что будет, то будет, - подумал Семён. - А граф, верно, выхлопочет разрешение. У него сила, деньги. А Пьер приедет - и будем жить дальше. Всем места хватит».

Он перекрестился, вошёл в конюшню, погладил лошадей, засыпал им овса и лёг спать на сеновале, слушая, как за стеной в людской играют на гармонике и кто-то поёт песню - старую, долгую, про то, как добрый молодец едет в чисто поле и никто его там не ждёт. И показалось Семёну, что эта песня - про всех, и про него, и про старого графа, и про маленького Пьера, который учится во Франции и не знает, вернётся ли когда-нибудь домой. А небо над Москвой было высокое, звёздное, и ветер дул с севера, и где-то вдали, за городом, начинались те самые поля, по которым скакали гонцы с приказами императора.

XI

Граф Кирилл Владимирович, одетый в просторный халат, сидел в своём любимом вольтеровском кресле у окна и перечитывал письмо, которое пришло сегодня утром из Парижа. Письмо было от Пьера - тринадцатилетнего мальчика, которого граф два года назад отправил учиться во Францию, и который теперь, судя по всему, не собирался возвращаться, потому что учёба, как он писал, была увлекательной, а Париж - самым прекрасным городом на свете. Граф читал, улыбался, иногда хмурился и поводил бровями - теми самыми густыми, седыми бровями, которые делали его лицо похожим на лицо старого, умудрённого жизнью льва.

- Что пишет? - спросил Григорий, подавая чашку.

- Пишет, - ответил граф, не поднимая глаз, - что Бонапарт, этот корсиканец, говорят, скоро всех разгонит и консулом себя сделает. Уже теперь все о нём говорят как о хозяине

Франции. *C'est un homme extraordinaire* (Это необыкновенный человек), - пишет. Мальчишка, а туда же - судит о политике.

Григорий ничего не сказал, потому что о политике он не понимал, а Бонапарта видел только на картинках - маленький, злой, с рукой, заложенной за борт сюртука. Но он заметил, что граф не сердится на Пьера, а скорее гордится тем, что сын интересуется такими вещами.

- А что же, ваше сиятельство, - осторожно спросил Григорий, - вернётся он скоро? Или ещё поживёт во Франции?

- Поживёт, - сказал граф, откладывая письмо. - Пусть учится. У нас сейчас неспокойно. Государь, говорят, готовит новые указы, а с Европой неизвестно что будет. Пусть лучше во Франции сидит, чем здесь, под рукой императора, который может сослать за лишнее слово. *Ici, c'est dangereux* (Здесь опасно).

Григорий вздохнул, поправил салфетку и отошёл к окну. Небо было осеннее, низкое, серое, с мелкими, часто бегущими облаками, которые казались Григорию похожими на тех самых курьеров, что сновали между Москвой и Петербургом с царскими указами. По стеклу стучал мелкий, частый дождь - тот самый, который бывает в сентябре, когда лето уже кончилось, а зима ещё не началась, и всё вокруг кажется мокрым, липким, противным. И люди такие же - мокрые, липкие, противные. Вчера, например, приезжал князь Василий Курагин - будто бы навестить больного графа (граф, впрочем, не был болен, просто устал и не выходил к обеду), - но на самом деле, как понял Григорий, приезжал узнать, не написано ли новое завещание, и не отписано ли имение не тому, кому надо. Князь Василий сидел в кресле, пил чай, говорил о пустяках, но глаза его бегали, и он то и дело поглядывал на письменный стол, где в кожаном портфеле лежали бумаги.

«Лисица, - подумал тогда Григорий. - Пришёл понюхать, что где лежит». И теперь, вспомнив это, он подумал: «Придёт ещё. Придёт, непременно. Пока граф жив, он не успокоится».

Граф допил шоколад, отставил чашку и сказал:

- Григорий, напиши-ка ответ. Скажи: живи, учись, не скучай. И деньги я ему вышлю, сколько попросит. Пусть не нуждается.

Григорий подошёл к столу, взял перо, обмакнул в чернильницу и начал писать под диктовку. Граф диктовал медленно, с расстановкой, иногда задумываясь, и голос его звучал устало, но твёрдо.

- «*Mon cher fils* (Любимый сын), письмо твоё я получил и обрадовался, что ты здоров и весел. Что касается Бонапарта - не суди о том, чего не знаешь. Время покажет, кто он - гений или разбойник. Учись, слушай профессоров, не ленись. А возвращаться пока не торопись. В России сейчас не лучше, чем во Франции, а может, и хуже...»

Он замолчал, потер лоб и добавил:

- Не надо про хуже. Убери. Напиши: «Будь осторожен, береги себя. Твой любящий отец».

Григорий написал, сложил лист, запечатал сургучом и придавил печаткой с графским гербом. Граф взял письмо, поднёс к свече, чтобы сургуч застыл, и сказал:

- Завтра же отошли с курьером. Пусть летит.

Потом он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и, помолчав, проговорил, как будто сам с собой:

- Если я умру, он останется один. Князь Василий его съест. И княгиня Друбецкая - тоже. Надо что-то делать. Надо завещание... но когда? Всё руки не доходят.

Григорий стоял и смотрел на графа. Ему стало жаль старика - жаль тою тихой, молчаливой жалостью, которую чувствуют слуги к старым, одиноким господам, у которых нет никого, кроме слуг. У графа были родственники - князь Василий, княгиня Друбецкая, ещё какие-то кузины и племянники, - но все они хотели одного: его денег. А сын, единственный, кто любил его не за деньги, был далеко, во Франции, и неизвестно, когда вернётся.

- Ваше сиятельство, - сказал Григорий, помявшись, - а может, написать Пьеру, чтобы приезжал? Всё-таки родная кровь.

Граф открыл глаза, посмотрел на Григория долгим, тяжёлым взглядом и ответил:

- Нет. Пусть учится. Я ещё поживу. Я живучий.

Он усмехнулся - той кривой, невесёлой усмешкой, какой усмеваются люди, которые знают, что живучесть их уже на исходе, но не хотят этого показывать. Григорий поклонился и вышел в коридор.

В коридоре было темно, пахло старым деревом и воском. Григорий прошёл мимо комнаты, где когда-то жил Пьер - маленькой, с окном во двор, - и остановился. Комната была пуста, мебель стояла, накрытая простынями, и на стене висел портрет покойной графини Безуховой, молодой, красивой, с той особенной, грустной улыбкой, которая бывает у женщин, знающих, что они умрут рано. Григорий перекрестился, вспомнил, как маленький Пьер бегал по этой комнате, как спрашивал: «Григорий, почему небо такое высокое? Почему звёзды не падают?», - и как Григорий не знал, что ответить, и отвечал: «Бог так устроил, барин». А Пьер не верил, говорил, что Бог тут ни при чём, что всему есть объяснение, надо только искать. И Григорий думал тогда: «Чудной мальчик. Глаза большие, умные. Может, и вправду найдёт ответ».

Теперь Пьеру было тринадцать, он жил в Париже, учился в пансионе, писал отцу письма про Бонапарта и про то, как устроен мир. И Григорий, глядя на портрет его матери, подумал: «Вырос бы поскорее, приехал бы. А то старый граф, того гляди, помрёт, и останется мальчик один, а вокруг волки. Князь Василий уже зубы точит. И княгиня Друбецкая не отстаёт. Вчера опять заезжала - цветы привезла, а сама всё на портфель поглядывает. Лисицы, право слово».

Он пошёл вниз, на кухню, велел подавать обед и остался стоять у окна, глядя на осеннюю улицу. Дождь перестал, но небо оставалось низким, серым, и редкие прохожие шли, поднимая воротники, пряча лица. Кто-то из дворовых сказал, что в Петербурге опять аресты, что государь недоволен, что боятся все - и вельможи, и купцы, и простые люди. Григорий слушал и думал: «Везде страх. Везде боязнь. А мальчик во Франции - ему, верно, лучше. Там хоть знаешь, чего бояться. А у нас - неизвестно. Может, завтра указ, а послезавтра - ссылка. И никто не знает, за что».

Он сел на лавку, взял в руки старую, зачитанную книгу - жития святых, которые любил читать на досуге, - но читать не стал, потому что мысли его были о другом. Он думал о том, что жизнь идёт, и никто не знает, куда она ведёт. Вот граф - богат, знатен, а лежит в кресле и боится, что после смерти его сына обманут. Вот князь Василий - умён, хитер, а тоже боится - боится, что не получит того, на что надеялся. А он, Григорий, - маленький человек, слуга, - а тоже боится, потому что если граф умрёт, то новый барин может прогнать его на старости лет, и пойдёшь по миру. Все боятся. И только небо - высокое, равнодушное - не боится ничего и смотрит на всех одинаково: и на графа, и на князя, и на слугу.

Он перекрестился, встал и пошёл накрывать на стол, потому что графу пора было обедать, и обед не должен был стын timer, и порядок должен был быть соблюлён, как при живом, и как при мёртвом - потому что порядок, он и есть порядок, и без него нельзя.

А за окном смеркалось, и в доме зажигали свечи, и тени плясали по стенам, и казалось, что в этом танце теней есть что-то такое, что не понять умом, а можно только чувствовать - чувствовать, что всё идёт так, как должно идти, и никто не может остановить это движение, ни царь, ни министр, ни самый богатый человек в России.

XII

День был декабрьский, морозный, солнечный, с тем особенным, праздничным блеском, какой бывает перед Рождеством, когда снег скрипит под ногами, иней на ветвях переливается, и кажется, что весь мир замер в ожидании чего-то радостного и светлого. В доме Ростовых сегодня были гости - не много, человек десять, - и все сидели в гостиной, пили чай с вареньем

и слушали, как маленькая Наташа поёт перед ними французские романсы, которым выучила её гувернантка.

Ефим не видел этого, но слышал - сквозь двойные рамы доносился слабый, чистый голосок, такой тонкий и нежный, что даже старый кучер, не понимавший ни слова по-французски, почувствовал, как у него защемило сердце. Голос пел о чём-то грустном, о том, чего Ефим не мог бы назвать словами, но что понимал всем своим существом, потому что в этом голосе была та самая, неподдельная чистота, которая бывает только у детей - и которая проходит, когда они вырастают. В гостиной, как потом рассказывали лакеи, графиня Ростова утирала слёзы платком, сам граф, красный как рак, сидел с бокалом в руке и, всхлипывая, повторял: «Ах, какая девочка! Ах, Господи!», - а одна гостья, пожилая княгиня, очень важная и надушенная, наклонившись к уху графини, сказала: - Elle a du talent, ma chère (У неё талант, моя милая). У неё настоящий талант, берегите её.

Граф, услышав это, засмеялся сквозь слёзы и крикнул что-то громкое, весёлое, от чего все засмеялись, и Наташа, кончив петь, сделала реверанс - неуклюжий, смешной, потому что она ещё не умела кланяться как следует, - и побежала к матери, уткнулась ей в колени и спросила: - Мама, я хорошо пела? Мама, правда хорошо? - Графиня гладила её по голове и говорила: - Хорошо, моя радость, очень хорошо.

Но Наташе не сиделось на месте. Ей было шесть лет, и после долгого сидения в душной гостиной, после пения и аплодисментов, ей захотелось на воздух - на мороз, на снег, где можно было бегать, кричать, валяться в сугробе и не думать о том, как надо кланяться и говорить по-французски. Она выскользнула из комнаты, пока никто не заметил, сбежала по лестнице, накинула на плечи шубку - не застёгивая, кое-как - и выбежала на крыльцо.

Ефим, увидев выбегающую барышню, удивился.

- Барышня! - сказал он. - Холодно же! Зачем вы без шапки? Простудитесь, граф вас заругает.

- А я не боюсь! - закричала Наташа, подпрыгивая на морозе. - Ефим, а Ефим, отвезёшь меня завтра в Москву? Мы к тёте едем, я слышала. Отвезёшь?

- Отвезу, барышня, - ответил Ефим, улыбаясь в усы. - Куда прикажете, туда и отвезу. Хоть на край света.

Наташа засмеялась, подбежала к перилам крыльца, обхватила их руками и стала смотреть на небо. Небо было низкое, зимнее, того самого серовато-синего цвета, какой бывает в декабре, когда день короток, а мороз крепок, и звёзды уже начинают зажигаться на востоке, хотя солнце ещё не село. Наташа смотрела на это небо, на облака, на редкие, мерцающие звёзды, и вздыхала - не потому, что ей было грустно, нет, она была весела, но в этом вздохе было что-то такое, от чего Ефим вдруг подумал: «Растёт девочка. Ещё маленькая, а уже вздыхает, как взрослая. Верно, у неё своя печаль есть, хоть и не скажет какая». Ему вспомнилась его дочь, умершая в младенчестве, и на минуту стало больно, но боль тотчас прошла, потому что жизнь - она есть жизнь, и горевать о прошлом некогда, когда надо работать.

- Ефим, - сказала вдруг Наташа, не оборачиваясь, - а звёзды падают? Мне Коля сказал, что падают. А я не верю. Звёзды - это глазки Божьи, они не падают.

- Ваш братец, Николай Ильич, верно, шутил, - ответил Ефим. - Звёзды не падают. Они стоят на небе, как свечки в церкви. А падают - это так, падучие звёзды, их в народе падучими и зовут. Но это не звёзды, а так, летучки.

- А откуда ты знаешь? - спросила Наташа, поворачивая к нему своё розовое, заиндевелое лицо.

- А я старей, - сказал Ефим. - Я всё знаю.

Наташа засмеялась, оттолкнулась от перил, пробежала по крыльцу, хватаясь за столбы, потом остановилась, посмотрела на небо ещё раз и сказала:

- А я, когда вырасту, буду петь. Прямо на сцене. Чтобы все плакали. И ты, Ефим, тоже будешь плакать.

- Буду, барышня, - сказал Ефим. - Куда ж я денусь.

В этот момент дверь отворилась, и на крыльцо вышел Николай - двенадцатилетний, уже высокий, с веснушками и с тем самым мальчишеским, озорным выражением лица, которое потом, когда он станет офицером, превратится в удалство, а пока только обещало будущую лихость. Он был без шапки, в курточке, накинутой на плечи, и, увидев Наташу, закричал:

- А вот ты где! А я тебя ищу! Мама велела тебе идти в комнату - простудишься, дурочка. И Ефим, чего смотришь? Веди её в дом!

- Сам дурак! - крикнула Наташа в ответ и, сделав брату язык, побежала вверх по лестнице, но на полпути остановилась, обернулась, показала язык ещё раз и скрылась за дверью.

Николай усмехнулся, покачал головой и, уже уходя, сказал Ефиму:

- Ты не слушай её. Она маленькая, глупая. А завтра мы в Москву едем. Заложим лошадей пораньше.

- Слушаю-с, - сказал Ефим, поправил шапку и остался один.

Он сидел на козлах, глядел на темнеющее небо, на котором уже зажглись первые звёзды - крупные, яркие, такие, каких летом не видно, - и думал. Думал он о том, как странно устроена жизнь. Вот растут дети - сегодня они маленькие, бегают, шалют, а завтра - глядишь - уже взрослые, и у каждого своя дорога. Наташа - она, верно, будет певицей, как сказала. Или не певицей, а кем-то другим, но всё равно будет счастлива или несчастлива - как Бог даст. А он, Ефим, будет всё так же сидеть на козлах и возить их, пока ноги носят. И хорошо, что так. Потому что порядок должен быть. И без порядка нельзя.

В доме заиграла музыка - кто-то сел за клавесин, и запели хором, и слышны были голоса - взрослые, детские, тонкие и толстые, - и все они сливались в одно, в то самое, что называется «домашний праздник», и Ефим, прислушиваясь, вдруг почувствовал, что ему хорошо. Холодно, но хорошо. Потому что он - часть этого дома, этой жизни, этого праздника. И пусть он не сидит за столом, а сидит на козлах, он всё равно здесь, всё равно свой. И девочка эта, которая только что смотрела на небо и вздыхала, как взрослая, - она тоже часть его жизни. И он запомнит её такой - маленькой, розовой, с растрёпанными волосами, - и когда она вырастет, будет вспоминать и, может быть, плакать.

Наташа тем временем, вернувшись в гостиную, подбежала к отцу, забралась к нему на колени и, прижавшись к его тёплому животу, спросила шёпотом:

- Папа, а когда я вырасту, я буду петь на сцене. Ты придёшь слушать?

- Приду, - сказал граф, глядя её по голове. - И сяду в первый ряд. И буду плакать.

- И Ефим тоже придёт, - сказала Наташа. - Я ему сказала. Он сказал - придёт.

- И Ефим придёт, - улыбнулся граф. - Все придём.

И Наташа, успокоенная, закрыла глаза и заснула прямо на руках у отца, потому что день был долгий, и она устала, и пение, и беготня на морозе, и слёзы - всё смешалось в её детской голове в один большой, сладкий, рождественский сон, в котором она была принцессой, и пела, и все плакали, и было тепло, и светло, и хорошо.

Ефим, услышав, что музыка затихла и голоса умолкли, понял, что гости, верно, разъезжаются. Он слез с козел, поправил сбрую, подошёл к лошадям, погладил их по мордам, дал каждой по куску хлеба, который припас заранее. Лошади фыркали, трясли гривами, и пар валил из их ноздрей, и глаза их блестели в темноте, и Ефиму показалось, что эти глаза - как звёзды на небе: тоже светятся, тоже живут своей, особенной жизнью, которую люди не понимают.

Он сел обратно, закурил трубку - старую, прокопчённую, которую курил ещё при покойном графском отце, - и стал ждать, когда позовут. И думал о том, что жизнь - она как дорога: едешь, едешь, а куда приедешь - неизвестно. Вот и сегодня - утром он не знал, что вечером

будет слушать пение маленькой барышни и смотреть на звёзды. А завтра ещё не знает, что будет. Но то, что будет - будет. И надо быть готовым. Ко всему.

А звёзды на небе зажигались всё новые и новые, и мороз крепчал, и снег скрипел под чьими-то шагами, и в доме Ростовых горели свечи, и жизнь продолжалась - та самая, непостижимая, которую нельзя остановить и нельзя повернуть вспять, а можно только ехать по ней, как по этой заснеженной дороге, вглядываясь в темноту и надеясь, что впереди - свет.

Часть вторая

I

Старый швейцар Захар Иванов, служивший при мальтийской капелле Михайловского замка с того самого дня, как её освятили, и выдавший на своём веку и генералов, и архиереев, и самого императора, который, говорят, спал теперь в этом замке, окружённый часовыми и пушками, - стоял у тяжёлых дубовых дверей, обитых чёрной кожей, и отворял их всякий раз, когда подъезжала очередная карета. День был январский, морозный, ветреный, с тем самым петербургским ветром, который гулял по Неве и завывал в трубах Михайловского замка так жалобно и тоскливо, что даже старый швейцар, привыкший ко всему, иногда вздрагивал и крестился. Народа на улице не было - только изредка проезжали кареты, да часовые ходили по плацу, отбивая шаг, да галочки стаи кружились над низким, свинцовым небом, и казалось, что это небо давит на замок, на город, на всю Россию, и сбросить эту тяжесть нельзя было никакими силами.

Сегодня в капелле должно было случиться нечто важное - Захар это знал по той особенной суете, какая бывает во дворце, когда государь собирается на торжество. С утра приехали камергеры, потом кавалеры мальтийского креста в белых плащах с восьмиконечными звёздами, потом сам князь Василий Курагин, который, как говорили, был главным распорядителем. Захар открывал двери, кланялся, пропускал их внутрь, а когда никого не было, украдкой приоткрывал дверь и заглядывал в капеллу. Капелла была небольшой, но богато убранной: на стенах висели мальтийские знамёна, на алтаре горели свечи, и пахло ладаном и воском. Посреди капеллы, на возвышении, стоял аналой, перед которым должен был преклонить колена император Павел, чтобы принять титул великого магистра Мальтийского ордена.

Захар не понимал всей этой затеи - какие такие рыцари, какой такой орден, зачем русскому царю, православному государю, надевать на себя католические кресты и называться магистром? Но он был человек подневольный и рассуждать не смел. Однако стоявший рядом иподиакон - молодой, с живыми глазами, по имени Федот, - шепнул ему на ухо:

- К чему всё это, дядя Захар? Рыцари, тьфу. Католичество, кресты. Государь наш православный, а туда же - в магистры лезет. Не к добру это.

Захар только вздохнул, перекрестился украдкой и ответил:

- Молчи, Федот. Не наше дело. Что государь велит, то и делай. А рассуждать - себе дороже.

Но сам подумал: «И вправду - рыцари. Смех один. А государь серьёзен. И все вокруг серьёзны. И князь Василий кланяется, и вельможи стоят навывтяжку. А небо-то над нами - свинцовое, тяжёлое. Не к добру всё это. *C'est le début de la fin* (Это начало конца)».

Внутри капеллы уже собрались все, кому положено было присутствовать. Император Павел, бледный, с горящими, безумными глазами, в белом мальтийском плаще, расшитом золотыми лилиями, и с короной на голове - той самой, которая была ему велика и поминутно съезжала на бок, - стоял перед аналоем и принимал регалии. Князь Василий Курагин, в белом плаще поверх мундира, с особенно торжественным лицом, поднёс на бархатной подушке мальтийский крест - восьмиконечный, серебряный, с изображением белого орла - и, наклоняясь к уху государя, сказал:

- L'Empereur a pris la croix, c'est un grand honneur pour la Russie (Император принял крест, это великая честь для России).

Павел взял крест, дрожащими руками приложил его к губам, потом к сердцу и замер. В капелле стало так тихо, что слышно было, как потрескивают свечи и как за окном воет ветер. Все ждали - что он скажет, что сделает? Но император молчал, только глаза его горели всё ярче, тем самым недобрым, нездешним огнём, который заставлял даже самых храбрых опускать глаза.

В толпе сановников, у колонны, стояли двое: граф Ростопчин, тот самый, который при Екатерине был в силе, а теперь, хотя и оставался при дворе, но, как говорили, был в опале, - и Билибин, молодой дипломат, умный, насмешливый, с вечно прищуренными глазами. Ростопчин, глядя на императора, на его белый плащ и горящие глаза, покачал головой и сказал Билибину, стараясь, чтобы никто больше не слышал:

- Что это такое? Что он делает? Рыцари, кресты - и всё это всерьёз?

Билибин усмехнулся - той тонкой, едкой усмешкой, которой он улыбался, когда речь заходила о глупостях сильных мира сего, - и ответил:

- C'est une folie, mais une folie dangereuse (Это безумие, но безумие опасное).

Ростопчин хотел ответить, но в этот момент Павел повернулся, и взгляд его упал на них - и оба, и граф, и дипломат, опустили глаза и сделали такие лица, будто они ничего не говорили, а только молились и радовались великому событию.

В другом углу капеллы, у стены, где висело мальтийское знамя, стоял Пьер Безухов - тот самый, которого все теперь называли графом, хотя ему было всего пятнадцать лет, и который, вернувшись из-за границы всего месяц назад, уже успел удивить петербургское общество своими странными речами и ещё более странным поведением. Пьер был толст, неуклюж, в чёрном сюртуке, который был ему коротковат, и смотрел на церемонию такими глазами, в которых было не почтение, а скорее недоумение, смешанное с любопытством. Он не понимал, зачем всё это нужно - кресты, плащи, мальтийские орлы. Ему казалось, что всё это - какой-то странный, непонятный театр, где император играет главную роль, а все остальные - статисты. И он, Пьер, тоже статист, хотя его никто не просил об этом.

Он вздохнул - так тяжело, так глубоко, что стоявший рядом сановник покосился на него с недоумением, - потом вынул из кармана записную книжку и что-то записал в неё карандашом. Что именно - Захар не разглядел, но подумал: «Видно, умный барин. Записывает, чтобы не забыть. Или, может, свои мысли, которые никому не скажет». Пьер кончил писать, спрятал книжку, и снова стал смотреть на императора, который всё ещё стоял перед аналоем, не двигаясь, и казалось, что он забыл обо всех и видит что-то такое, чего никто, кроме него, видеть не может.

Наконец церемония кончилась. Император подал знак, и все стали расходиться - не шумно, не весело, как бывает после праздника, а тихо, боязливо, оглядываясь. Павел вышел из капеллы быстрыми, нервными шагами, ни на кого не глядя, и Захар, отворивший ему дверь, успел заметить, что лицо у государя было бледное, землистое, и глаза горели тем же нездоровым, безумным огнём. «Господи, спаси и помилуй», - подумал Захар и перекрестился.

Когда все разъехались, Захар закрыл тяжёлые дубовые двери, запер их на засов и вышел на крыльцо. Двор был пуст, только часовые ходили по плацу, и ветер гнал по снегу мелкую, колючую позёмку. Небо над Петербургом стояло низкое, свинцовое, с редкими галочьими стаями, которые кружились над замком, будто чуя что-то недоброе. Захар постоял, посмотрел на шпиль Петропавловской крепости, который только что зажгли вечерние огни, и подумал: «Не к добру это. Рыцари, магистры - всё это не наше, чужое. И государь не в себе. И люди боятся. И небо такое - давит. Вот оно, начало конца». Он перекрестился ещё раз, повернулся и пошёл в свою сторожку - топить печь и ставить самовар, потому что на холоде стоять было не вмоготу, и старые кости ломило.

Он думал, идя по коридору, о том, что видел. Думал о Пьере - молодом графе, который смотрел на церемонию так, будто видел что-то смешное, хотя смешного не было ничего. Думал о князе Василии, который говорил красивые слова, но в глазах у него была пустота. Думал о Ростопчине и Билибине, которые шептались и усмехались, хотя и усмехались боязливо, оглядываясь. И думал о государе - о его бледном лице и горящих глазах, и о том, что всё это не может кончиться добром, потому что безумие власти - это самая страшная болезнь, и лекарства от неё нет.

Он вошёл в сторожку, закрыл дверь, зажёл свечу и долго сидел у печи, глядя на огонь. Огонь потрескивал, дрова горели, и в их горящем, живом свете было что-то успокаивающее, что-то такое, что говорило: «Ничего, перемелется - мука будет. И это пройдёт. И это кончится». Но Захар знал, что не всегда проходит и не всегда кончается. Иногда остаётся - остаётся в памяти, в душе, в тех самых звёздах на небе, которые видят всё и помнят всё.

Он перекрестился на образ Спасителя, который висел в углу, и прошептал:

- Господи, помилуй нас, грешных. Господи, спаси и сохрани.

И заснул, сидя на табурете, под равномерный, успокаивающий стук маятника старых часов, которые отсчитывали время - то самое, непостижимое время, которое ведёт человека по жизни, никуда не сворачивая и не спрашивая позволения.

II

Камердинер Филипп, служивший князю Андрею Болконскому третий год и знавший все его привычки - когда подавать кофе, когда будить к заутрене, когда не входить без стука, а когда и вовсе не показываться на глаза, - стоял посреди маленькой прихожей петербургской квартиры князя на Галерной улице и чистил щёткой мундир. Мундир был новый, сшитый по последнему прусскому образцу - тот самый, который теперь носили все офицеры, хотя многие, как знал Филипп от разговоров в людской, втайне его ненавидели за неудобство и за то, что в нём нельзя было вздохнуть полной грудью. Князь Андрей собирался на бал к графу Шереметеву, одному из тех вельмож, которые, несмотря на опалы и новые указы, всё ещё держали открытый дом и принимали весь цвет петербургского общества.

Филипп усердно тёр щёткой рукава, отряхивая невидимую пыль, и, покосившись на барина, который стоял перед зеркалом и завязывал галстук, заметил, что лицо у князя сегодня было не таким, как всегда - не хмурым и сосредоточенным, а каким-то растерянным, почти мальчишеским. Князю Андрею было двадцать два года, но он всегда казался старше - и из-за своей серьёзности, и из-за той особенной, сдержанной усталости, которая лежала на его лице с тех пор, как он вернулся из армии. Однако сегодня в его глазах, серых, глубоких, мелькало что-то новое - нетерпение, ожидание, почти волнение, которого Филипп не замечал в нём никогда.

- Ваше сиятельство, - сказал Филипп, отставив щётку и вытирая руки о тряпку, - позвольте заметить, галстук у вас съехал набок. Наденьте, как я вас учил: сначала узел, потом концы вниз... Вот так.

Князь Андрей, который стоял перед зеркалом и мучительно пытался завязать галстук так, чтобы он выглядел и красиво, и небрежно, и в то же время строго, досадливо отмахнулся и сказал:

- Oui, oui (Да, да). Сейчас. Отстань, Филипп.

Филипп отошёл, но продолжал наблюдать. Барин был сегодня сам не свой. Он то поправлял волосы, то одёргивал мундир, то подходил к окну и смотрел на весеннюю улицу, где с крыш падала капель и таял последний снег, и видны были лужи, и небо за окном было уже не зимним, свинцовым, а мартовским, серо-голубым, с быстрыми, разорванными облаками. И Филиппу, который знал своего барина как облупленного, стало любопытно: что случилось? Отчего такая суета? Неужели он влюбился? Или предчувствует что-то важное? А может, просто весна - время, когда молодым людям хочется на бал, танцевать и говорить с дамами?

Наконец князь Андрей справился с галстуком, одёрнул мундир, взял с вешалки шинель и сказал:

- Ну, я пошёл. Жди. Я, верно, задержусь.

- Слушаю-с, - ответил Филипп, отворил дверь и остался в прихожей один.

Он присел на табурет, сложил руки на коленях и стал ждать. Ждать он умел - за три года службы у князя он привык к долгим вечерам, когда барин бывал в гостях, а он, Филипп, сидел в прихожей и слушал, как часы тикают, как за окном проезжают кареты, как в соседней комнате похрапывает лакей из соседней квартиры. Но сегодня ждать было не скучно - сегодня было о чём подумать. Филипп вспомнил, как недавно в людской говорили, что князь Андрей, будто бы, присматривает себе невесту. Кто говорил - не помнил, но слова эти запали ему в душу. «Неужели в самом деле жениться собрался?» - подумал Филипп. - Двадцать два года - самое время. И характер у него тяжёлый, молчаливый, а женитьба, говорят, меняет человека. Может, и вправду станет веселее. А может, и нет. Как Бог даст».

Бал у графа Шереметева был в самом разгаре, когда князь Андрей вошёл в большую, освещённую сотнями свечей залу, где уже танцевали, говорили, смеялись, и где воздух был наполнен запахами духов, горячего воска и ещё чем-то праздничным, что бывает только на балах. Андрей огляделся, поискал глазами знакомых, и вдруг остановился. У окна, в нише, стояла девушка - молоденькая, тоненькая, в белом платье с голубой лентой на талии, с тёмными, живыми глазами и с короткой, чуть вздёрнутой верхней губой, которая при улыбке вздрагивала и поднималась кверху, обнажая мелкие, ровные зубы. Она смеялась чему-то, и в этом смехе, в этом вздрагивании губки, было что-то такое, от чего у Андрея перехватило дыхание. Он не мог бы сказать, что она была красива - нет, красивых на балу было много, - но в ней было что-то своё, особенное, что-то живое, тёплое, чего он не встречал в петербургских салонах, где все женщины были похожи одна на другую: одинаково улыбались, одинаково говорили, одинаково смотрели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.